



Ольга
Славникова

Шорт-лист
премий
«Большая книга»,
«Ясная Поляна»

Прыжок в длину
роман

Большая проза

Ольга Славникова

Прыжок в длину

«АСТ»

2017

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Славникова О. А.

Прыжок в длину / О. А. Славникова — «АСТ»,
2017 — (Большая проза)

ISBN 978-5-17-112744-2

Ольга Славникова — известный прозаик, эссеист, культуртрегер, автор романов «2017» (премия «Русский Букер»), «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки», «Один в зеркале», «Бессмертный», «Легкая голова». Роман «Прыжок в длину» удостоен премии «Книга года», вошел в шорт-лист премий «Большая книга» и «Ясная Поляна». Олег Ведерников заканчивает школу и готовится к чемпионату Европы — на него возлагают большие надежды, спортсмен-юниор одарен способностью к краткой левитации. Однажды он совершает чемпионский прыжок — выталкивает из-под колес летящего джипа соседского мальчика и... лишается обеих ног. В обмен на спасенную жизнь получает жизнь сломанную, а мальчик становится его зловещей тенью.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-112744-2

© Славникова О. А., 2017
© АСТ, 2017

Содержание

i	6
ii	19
iii	29
iv	40
v	54
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Ольга Славникова

Прыжок в длину

© Славникова О.А., 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

* * *

i

В те давние времена, когда Олег Ведерников был восходящей звездой российской легкой атлетики (и когда у него, берущего разбег на дорожке прыжкового сектора, действительно будто бы горела во лбу белая влажная звезда), рост его равнялся одному метру восьмидесяти двум сантиметрам. Вот уже четырнадцать лет у него вообще нет роста – в обычном, человеческом понимании этого слова. Сверху Ведерников целый и даже как будто живой; внизу он словно растворяется в пространстве, исчезает, как исчезает, превращается в облачко, не достигнув тверди, слабая струйка песка. Словно кто спускает Ведерникова из горсти, развеивает по ветру. Правая нога (толчковая) у него ампутирована выше колена, левая (маховая) – по щиколотку.

Теперь Ведерников существует словно бы в воздухе, без прямоходящего контакта с земной поверхностью. В детстве, когда он рос, он летал во сне: мощно отталкивался от края какой-то туманной, с синими стенами пропасти, черпал воздух емкими крыльями, чувствовал напряженным пером упругость восходящих воздушных потоков. Под ним расстилалась сизая, еловая, горная местность с удивительной, мягчайшей чертой горизонта – за которой таяла, все не могла растаять призрачная вершина, состоявшая как будто из того же космического снега, что и висевший над нею в дневной синеве ломтик луны. Во сне Ведерников всем существом стремился туда – и работал не столько крыльями, сколько неким внутренним, не известным науке органом: какая-то силовая паутина в животе, способная напрямую взаимодействовать с пространством.

Просьпаясь по утрам, Ведерников первым делом чувствовал, что эта паутина еще не успокоилась. Она трепыхалась, отдавала в ноги, заставляла, кое-как покидав учебники в рюкзак, бежать бегом, хотя до начала уроков оставалась уйма времени; она подмывала с разбега перемахивать через обширные, величаво разлегшиеся лужи, а зимой забираться на козырьки подъездов, чтобы прыгать с них в опасные сугробы, скрывавшие под нежной порошей твердые, как бетон, обломки слежавшегося снега, а то и куски арматуры. И все для того, чтобы в воздухе испытать ликующий толчок – безо всякой опоры еще вперед и вверх, и зависнуть при помощи живота, как в остановленном кино.

Впоследствии оказалось, что силовая паутина в животе есть не у всех. Первым особенностями Ведерникова заметил не физрук, чьи водянистые глаза-пузыри видели только толстых девочек в тугих трико, а учитель физики Ван-Ваныч, наблюдавший за скаканиями Ведерникова с величайшим удивлением, собрав лоб горкой. Был Ван-Ваныч тощий, нескладный, с неодинаковыми ломаными бровями и большим кадыком, похожим на древесный гриб: из тех неспортивных людей, что физиологически боятся летящего мяча. Но у Ван-Ваныча имелась мать – бывшая балерина, и от нее наблюдательный физик знал про загадочное явление, которое у балетных называется «баллон». Эта важная, слегка оскаленная мумия два раза приходила в школу и очень уговаривала Ведерникова заниматься у нее в балетном классе. Но Ведерников не хотел танцевать, он хотел прыгать. Тогда, хлопотами Ван-Ваныча, Ведерников оказался в школе олимпийского резерва, куда надо было ездить сначала на метро, а потом на медленном, как корова, троллейбусе пять остановок.

* * *

У Ведерникова началась совершенно другая жизнь, главным человеком в ней стал тренер Александр Грошин, он же дядя Саня: на вид добродушный, большой, покатый, с коричневой печеной лысиной и черной шерстью на груди, где запутался, будто комар, мелкий право-

славный крест. На самом деле тренер был жесткий мужик: не спускал ни лени, ни нарушения режима, провинившихся отправлял с тренировки работать на школьную кухню, где приходилось до ряби в глазах драить кафельные, в мелкую шашечку полы и чистить целые горы черных дряблых овощей. Ведерников, которому обычно доставалось отмывать поросшую жирной коростой чугунную плиту, долго считал, что дядя Саня ненавидит его лично: за то, что явился в середине года, за опоздания, происходившие зимой по причине поломки троллейбусов, стоявших иногда целыми порожними стадами в метельном дыму, уронив на спины бессильные рога. Но однажды Ведерников вдруг увидел глаза дяди Сани, какими он наблюдал за его, Ведерникова, растопыренным полетом над скособоженным матом: глаза эти, обычно тусклые, сияли промытой синевой и были исполнены какого-то нежного удивления, несмелого вопроса. Ведерников так опешил, что даже пропустил момент, когда надо было подвытянуться в воздухе, и плюхнулся на вялый мат, точно его снизу дернули.

С той тренировки дела у Ведерникова пошли иначе. Откуда-то он понимал, что несмелый вопрос дяди Сани был адресован высшей инстанции, вроде как судьбе – но дяде Сане почему-то не дано обратиться туда напрямую. Задачей Ведерникова стало – получить ответ. Тогда он сам начал разбираться со своей дурной и шалой, во все стороны направленной энергией, заставлявшей его скакать, орать, лазать на толстую, как снежная баба, под самыми окнами учительской росшую березу, совершать другие бессмысленные подвиги – в общем, вести себя как полный придурок. Постепенно он привык собирать себя на дорожке в линию, научился рассчитывать разбег – как бы отделять от себя другого, призрачного Ведерникова и пускать его задом наперед от доски отталкивания до старта, мышцами запоминая порядок подлетающих, как на Луне, замедленных шагов.

Однако сам полет над прыжковой ямой, изрытой, будто снарядами, нетерпеливыми попытками Ведерникова, оставался в ведении той самой судьбы, что упорно держалась на расстоянии в восемь метров, не подпускала ближе. Восьмиметровая отметка, до которой можно было запросто дошагать по земле, уходила во время прыжка словно бы в иное измерение, мерцала оттуда призрачной чертой над рыжим песком. Ведерников упорно, по сантиметру приближался к недостижимому: 7.73, 7.78, 7.81 – но между ним и решающим результатом по-прежнему лежала его личная, обманчиво трехмерная бесконечность. Мировой рекорд составлял восемь метров девяносто пять сантиметров и принадлежал американцу Майку Пауэллу, великолепному, словно из темной резины отлитому атлету. Дядя Саня множество раз крутил для своих юниоров запись рекорда: там, перед стартом, Пауэлл отдувался и рычал, пористое лицо его было как порох, который вот-вот вспыхнет. И ясно улавливался момент, когда американец, оттолкнувшись и пробежав мощными, нечеловечески длинными ногами по воздуху, сложился и завис, словно ему удалось вскочить на невидимую лошадь.

7.86, 7.88, 7.91 – где-то на этих отметках нечувствительно прошли, будто пейзаж за окном поезда, выпускные школьные экзамены и вступительные экзамены в Академию физкультуры и спорта. Приближался первый в жизни Ведерникова чемпионат Европы, и дядя Саня, передав остальных юниоров суетливому помощнику, жестко сосредоточился на своей главной надежде, не оставляя Ведерникову ни сантиметра личного пространства. Между тем наступил апрель, воздух тревожно забродил, капель бурлила, как кипяток, все гремело, сверкало, соседская девчонка Лариска бегала в новой красной куртке – и отчего-то Ведерников страшно смущался, когда сталкивался с ней, неожиданно рослой, в зеркальном лифте. В случайные прорехи расписания тянуло открытым пространством, какой-то новой свободой. Вдруг Ведерникова стала интересовать собственная внешность. Раньше он видел себя в зеркале мельком, точно был сам себе случайный знакомый, а теперь, злостно занимая по утрам ванную комнату, подолгу всматривался в свое худое угловатое лицо, на котором смагивали невыразительные, ржавого цвета глаза. Под большим треугольником носа темнел неаккуратный след усов, точно ластиком стерли карандаш, – и было все еще непривычно бриться, выглаживать кожу

опасным агрегатом, жужжащим, как осиное гнездо. А то ему воображалось, будто в зеркале за его спиной возникает, как вот в рекламах мужских лосьонов, красивая и взрослая Лариска, будто она обнимает его белыми, тающими от белизны и нежности руками и кладет большую мягкую прическу ему на плечо.

Той же весной кто-то в окрестностях развлекался тем, что отстригал лапы голубям. Ведерников не раз наблюдал, как истощенная птица пыталась сесть на свои воспаленные красные спички, на которых иногда болталась заскорузлая ловчая нитка, похожая на засохший кровеносный сосуд. Птица бултыхалась в воздухе, точно тонула, ее несвежее перо отливало седелкой. Таких инвалидов было видно издали, они выделялись в голубиной стае, слетевшейся на крошки и семечки, будто клочья ваты, выданные из одеяла. Кто-то неустанно трудился, делая из голубей чистых обитателей воздуха, безумных ангелов, не касающихся тверди. Может, то было предупреждение Ведерникову лично от сил судьбы, вселившихся в какого-нибудь прогорклого алкаша или в маменькиного сыночка с умильными глазками, с портновскими липкими ножницами в школьном рюкзаке. Хотя на самом деле судьба никого ни о чем не предупреждает, а делает свое дело резко: была одна жизнь, и сразу стала другая, вот и все.

* * *

В своих нынешних снах Ведерников тоже летает, но совсем по-другому. Теперь он превращается в рыбу и вяло шевелится в густой тяжелой толще, под ним колышутся темные растительные массы, мертво белеют песчаные зыби, смутно рисуются покрытые коростой и хлопьями корабельные обломки, среди них затонувший танк, похожий на стриженный куст. Ведерникова изнуряет медлительная правдоподобность этого сна. Иногда он видит, как его неодинаковые культы срываются в мускулистый и холодный рыбий хвост, чувствует на себе тугую, скрежещущую чешую, видит хвостовой плавник, режущий наподобие истрепанного флага над студенистой бездной. Во сне Олег твердо знает: местности, что под ним, наяву не существует.

* * *

Можно ли жить сожалением, как вот другие живут амбициями, или жаждой денег, или любовью? Это все равно что вместо хлеба питаться водкой. Ведерников не пьет, пробовал – не получилось: похмелье наступало у него не на другое утро, как у людей, а буквально через полчаса после первого стакана, голова его напоминала колбу, в которой проводится болезненный и едкий химический опыт. Это спасло Ведерникова от простого человеческого распада, но подвергло, как он постепенно понял, распаду худшему: разрушению в полном сознании, по жгучей песчинке, по клетке, необратимо и страшно.

Наверное, ни один преступник не раскаивался так в совершенном убийстве, как Ведерников раскаивался в спасении соседского мальчика Женечки Караваева.

Он, Ведерников, ничего такого на самом деле не хотел. Все, что говорили потом родители Караваевы, неотвязно наполнявшие больничную палату своим одышливым присутствием, все, что вещал дородный, зализанный набок чиновник, явившийся прямо во время врачебного обхода с медалькой и букетом бодренских гвоздик, – все было чушь. Никаким героем Ведерников не был и подвига не совершал. С ним произошел несчастный случай: ноги понесли, как вот могут понести лошади. Его незабвенные, мускулистые, светлым солнечным пухом покрытые ноги, которые так хорошо и ладно ступали по сизому асфальту, в теплых и мутных майских сумерках, двадцатого числа.

Нет, на самом деле все было не так просто. Какое-то счастливое предвкушение будоражило Ведерникова в тот последний вечер. Он шел с тренировки, прерванной, казалось, на

самом важном месте, и силовая паутина, его летательный орган, вдруг словно окрепла, у нее обозначился центр, которого Ведерников прежде не ощущал. Все чувства Ведерникова были обострены, все вокруг как бы обращалось к нему лично: и бледная, пухлая пена цветущих яблонь, и по одному, по два загоравшиеся окна, и восторженный визг железной качельки с маленьким, сложенным в виде зета седоком. Уже темнело, и небо было намного светлее земли: странное, похожее на очень старое зеркало, с желтизной в амальгаме и слепыми металлическими пятнами облаков – при этом совершенно ничего не отражавшее.

Все произошло помимо воли и сознания Ведерникова. Сперва он увидел выкатившийся на дорогу детский резиновый мяч, наполовину красный, наполовину зеленый, с ярко-белыми полосами по экватору; полосы мелькали, будто стрелки побежавших часов, все ускорялись под уклон, не могли остановиться. Проехал, не задев беглеца, смешной горбатый автомобильчик, похожий на шляпу и управляемый дамой; сразу за тем на дорогу выскочил пацанчик-маломе-рок, с ушами как у обезьянки, в широких спадающих шортах, выскочил и побежал за мячом, растопырившись, точно ловил курицу.

В это время за ближним поворотом разомлевший в теплыни светофор лениво переключился с зеленого на желтый, и водитель тяжеленного навороченного «хаммера», желая проскочить, нажал на газ.

В следующую секунду «хаммер», похожий, в своих никелированных трубах и жарких выхлопах, на небольшой химический завод, резко вывернул из-за газетного киоска; фары его, махнув по автобусной остановке с застывшими, точно на сцене, людьми, залили спуск. Сильное электричество совершенно стерло пацанчика, превратило его в игру лучей, в оптический эффект, так что водитель, благообразный бородач, евший гамбургер из волосатого кулака, и не подумал тормозить. Вдруг пацанчик выпрямился, повернулся, и прямо перед «хаммером» возникла, будто кривое зеркальце, залитая светом добела детская физиономия. В этот момент Ведерников уже шагал по воздуху.

Это был великолепный прыжок, он стал бы рекордом среди юниоров, если бы каким-то чудом был засчитан. Как специально, дорожка для разбега – диагональная аллея, пригласительно светлевшая между парковкой и путаницей кустов, – оказалась совершенно свободна. В самый центр силовой паутины словно ударил молоток, и паутина загудела наподобие гонга. Вот сейчас, понял Ведерников и, сосредоточенный на себе, абсолютно автономный и неуязвимый, пошел, пошел рассчитанным мощным разбегом, ощутил под правой толчковой доску отталкивания (измазанную глиной плаху на месте хронической аварии водопровода) и взлетел. Десятки зевак наблюдали, как тощий растрепанный парень сделал три огромных шага над раскопанными трубами и чахлым цветником, а потом сложился в воздухе и каким-то образом взмыл над остовом вросших в асфальт «жигулей», чтобы вытолкнуть ребенка из-под страшных колес. На самом деле эта ликующая половинка секунды, когда не только Ведерников, но и все окружающее словно застыло на весу, как бы в высшей точке взлета, в невероятно точном равновесии больших и малых частей, – она и была целью. Затем – жесткая посадка на асфальт, рев ободравшего колени пацанчика, близкий зеркальный оскал внедорожника, жаркий дух его раскаленного нутра, хруст, кипиток по нервам, темный провал.

На следующий день, пока Ведерников, туго накачанный лекарствами, плавал в безвидной области, где не нужны никакие ноги, – сосредоточенный и страшный дядя Саня несколько раз промерил расстояние между затоптанной плахой и пятном сварившейся крови на проезжей части. Получалось, со всеми поправками на приблизительность, минимально восемь метров тридцать сантиметров. Много часов потрясенный дядя Саня слонялся по кварталу, все никак не мог уйти от призрачного рекорда, оставить феномен на произвол реальности, все стиравшей и все отменявшей. Потом он до самой ночи тупо сидел в тренерской, зарастая землистой щетиной и глядя исподлобья на свой мобильный телефон, который жужжал и ползал по столу,

будто муха, у которой оборвали крылья. Это дяде Сане пытались сообщить, что левую ступню спортсмена, к сожалению, тоже не удастся спасти.

* * *

Ведерников не сразу понял, что у него нет ног. Ноги как будто были, Ведерников даже мог пошевелить пальцами, отчего становилось щекотно и горячо, словно в песке на пляже. А то ему казалось, что он лежит в постели обутый, в каких-то громоздких, налитых сыростью кроссовках, и было неудобно перед врачами, чьи лица светились над ним, будто молочные фонари.

Ведерников помнил, что его сбила машина. Но над ним белело все то же зеркальное небо, с желтизной и золотыми пятнами, а значит, до Европы оставалась еще бездна времени, хватит, чтобы восстановиться после травмы. На самом деле это был беленый потолок палаты с разводами протечки в углу, возле мокрой трубы. Бездна времени. Только когда часы и минуты перестали бежать со своим обычным членистоногим тиканьем, стало возможно ощутить, как эта бездна беспредельна. В палате почти всегда были люди – неясные, словно заключенные в мыльные пузыри, они плавно перетекали сами в себя и все как один улыбались Ведерникову радужными смутными улыбками. Немного позже он стал узнавать посетителей, правда, не всех. Он видел мать, ее короткую блондинистую стрижку словно из птичьего пера, ее узенькие стильные очки; видел дядю Саню, сгорбленного, с ярким бликом от окна на склоненной лысине. В тяжелой медикаментозной мгле, полной оптических иллюзий, посетители выглядели странно расплывшимися; иногда казалось, будто на них надето сразу по два, по три белых халата. Еще Ведерникову все время показывали ребенка, смотревшего исподлобья прозрачными глазами без ресниц, словно отлитыми из тяжелого стекла. Это был какой-то нехороший ребенок, слишком пристальный, навязчивый, слишком близко дышавший полуоткрытым ртом, маленьким, будто дырка, проделанная пальцем. На колене у мальчишки ярко розовела глянцевая кожа с остатками корки, и это почему-то беспокоило Ведерникова, заставляло мучительно сосредотачиваться на собственных ногах, лежавших как-то неправильно, косолапо, а временами словно исчезающих, оставляя по себе одни мурашки, рой горячей едкой мошкеры.

И вот в один прекрасный, пронзительно-солнечный день Ведерников оказался в полном сознании во время перевязки и, наконец, увидел то, что скрывалось под больничным серым одеялом. Он сперва не понял, как эти большие белые рулоны оказались у него в постели. Потом хорошенькая медсестра, посверкивая быстрыми глазками и круглыми сережками, размотала бинты. То, что осталось от правой ноги, напоминало тушку курицы. Левая заканчивалась обтянутой костью, и этот страшный кол упирался в какой-то тупик, где явственно чувствовались сведенные судорогой призрачные пальцы. Тут Ведерникова обнесло дурнотой, он попытался вырваться, встать нормальными живыми ногами на пол, услышал, как упала капельница, зазвонев, будто елка с игрушками, из последних сил сбросил с груди мягкую медсестру и провалился в хаос между кроватью и стеной, запутавшись в мокрых пластиковых трубках, проводах, простынях.

Эту стену Ведерников впоследствии изучил во всех ее шершавых подробностях. На ней, посредством мимических трещин и воспалений тускло-зеленой краски, было обозначено его отчаяние. Чемпионат Европы донесся до Ведерникова несколькими вспышками гула, когда сосед по палате, похожий в гипсе на поваленную парковую статую, случайно попадал, терзая пульт, на спортивный канал. Говорить с людьми было тяжело, а они всё приходили, не оставляли в покое. Мать приносила большие глянцевые пакеты, полные фруктов, и забирала вчерашнее, совершенно нетронутое; с ее сухого красивого лица не сходило выражение крайней досады, она придиралась к медсестрам и глухо, густо пахла табаком. Время от времени появлялся пацанчик, спасенное Ведерниковым живое существо. Пацанчик был смирен, нежен,

неуклюж, он вызывал какое-то автоматическое умиление у всего медперсонала, его то и дело гладили по шелковистой макушке, а потом бросали уважительный взгляд на Ведерникова, точно пацанчик и был его чемпионской наградой. В каком-то смысле выходило именно так, и от этого Ведерникову делалось еще тошней.

Чаще других присутствовала родительница пацанчика, сумевшая каким-то образом вдавить в сознание каждого свое тяжеловесное имя-отчество: Наталья Федоровна. Была она грузна, грубо сложена из глыб бесформенной плоти, и лицо имела такое же: нагромождение красноватых щек и криво положенного лба, между которыми были защемлены сильные, но мутные очки. Обыкновенно она сидела на тонконогом стульчике, прижимая свою хозяйственную сумку к животу, очень эту сумку напоминавшему; с каким-то уверенным упорством, глядя в пол точно между своими черными башмаками, она бормотала все одно и то же: «Вы уж нас простите. Недоглядели. Такое горе. Недоглядели за ребенком, вы уж простите нас». Родительница пацанчика выхаживала и высиживала это прощение, как могла бы выхаживать и высиживать пособие в собесе. В ней ощущалось неколебимое знание, что прощение ей положено по закону – вероятно, в силу многих недоданных благ и перенесенных несправедливостей, – а что дадут не сразу, ну, так уж в жизни все устроено. Мать Ведерникова мимоходом обдавала эту Наталью Федоровну ледяным презрением, но простое лицо из трех кирпичей совершенно не менялось, просительница уходила нескоро, а через день заявлялась опять, с парой побитых яблок или с кривым огурцом.

Возник, между прочим, и водитель рокового «хаммера», потрясенный своим злоключением и за малое время так поредевший волосом, что голова его просвечивала сквозь остатки растительности, будто астероид сквозь космические газы. Звали его не то Георгием, не то Григорием, был он зажиточный, недавно воцерковленный торговец водкой. Отмазанный от суда своими усердными молитвами и трудами адвокатов, он все не верил в свое избавление, дрожал, мелко крестился, точно штопал прореху в мироздании, разверзшуюся, на несчастье, прямо перед его пылающим носом. Увидав, как пацанчик ровненько, смирно входит в палату, а за ним, держась за его плечо, как слепая за поводырем, торжественно вдвигается Наталья Федоровна, бизнесмен шарахнулся, споткнулся, набил шишку. После он шептал Ведерникову, кося закровеневшими глазами в темные углы, что страшнее этой белой личины, возникшей на проезжей части ниоткуда, он в жизни ничего не видел, и называл пацанчика дьяволом. Может, он был и прав, этот добрый человек, вскоре канувший в пучину своего грешного бизнеса, может, он что-то такое почуял, что-то угадал своей узловатой, туго завязанной мозгой. А Ведерников, через много лет вспоминая тогдашнее свое равнодушие к Женечке Караваеву, приходил к печальному выводу, что времена в больнице были не так уж плохи.

* * *

Теперь Ведерников живет со своим наваждением, как другие живут с любовью, с верой в бога, с манией изобретения вечного двигателя. Вот, значит, он, этот парень, этот клевый чувак, заместивший Ведерникова в живой человеческой жизни. Его бы запросто могло не быть на свете уже четырнадцать лет. А теперь у него усы, и новая стильная курточка, словно обтертая о стенную известку, и какие-то темноватые делишки в модном клубе «Ведро», похожем на безумный планетарий, на бешеное вращение огнистой Вселенной вокруг юнца, сосущего коктейль. Женечка Караваев невысок, плотен: его удельный вес кажется намного больше, чем у обычной органики. Ни одно обещание нежного отрочества не сдержано. Вместо шелковых локонов на голове у Женечки плоско лежит грубый черный волос, прозрачные обезьяньи уши зачерствели и больше не пропускают света; в результате Женечка, особенно если смотреть на его приплюснутый, неровными прядями облепленный затылок, действительно похож на примата. Не сказать, что Женечка совсем нехорош собой: своим неандертальским лицом он

напоминает какого-то смутно-положительного голливудского актера, вот если бы еще сбрить нехорошую растительность над верхней губой – но Женечка гордится усами, постоянно поглаживает их большим и указательным, щеря крупные зубы, похожие на желтоватый колотый сахар.

Впрочем, весьма вероятно, что первобытный облик Женечки Караваева есть производное от воспаленного сознания Ведерникова. Может, на самом деле Женечка совсем не таков, может, он мягче, человечнее, может, он даже выше ростом, чем кажется инвалиду, не имеющему роста вообще. Ведерников предполагает, что сильные чувства, узко направленные на один конкретный объект, оседают на объекте гальваническим слоем, и чем сильнее электричество, тем слой толще. Так бывает в любви, так происходит и с тем, что Ведерников испытывает к Женечке Караваеву.

Он не смог бы дать определения жгучему сумбуру, что вызывает в нем это молодое существо, этот самец, неспособный, из-за своего чудовищного удельного веса, не только летать, но и плавать. Одно понятно Ведерникову: если в результате искажающей работы чувств у него получается пещерный человек, значит, сами чувства имеют доисторическую, темную природу – возможно, замешаны на инстинкте выживания, на очень старой и грубой версии этой программы, что хранится в тупике спинного мозга. А может, самый воздух, что служит чувствам гальваническим раствором, теперь содержит больше, чем прежде, первобытных темных веществ. Воздух цивилизации, густой и тусклый воздух современности уже едва способен удержать в себе все промышленные выбросы, всю информацию, что сливается в него радио- и телецентрами, беспроводным интернетом, социальными сетями. В нем, несомненно, идут самопроизвольные процессы распада, потому что современность нестабильна и ни у кого нет энергии для синтеза сложных, высокоорганизованных сущностей. Если колесо не катится, оно падает набок. Свойство воздуха таково, что человек наблюдает не столько реальность, сколько собственные проекции – и увидеть настоящее так же трудно, как рассмотреть ночной пейзаж сквозь свое отражение в темном окне.

И тем не менее Женечка реален. Вот он сидит, медленно мигая желтоватыми голыми глазами без ресниц, а внутри у него тикает таймер, отмеряющий, сколько времени следует еще побыть у дяди Олега. И как только щелкает последняя секунда, Женечка бодро встает, сует дяде Олегу для пожатия жесткую лапу в каучуковой браслетке и отправляется восвояси. Ноги у Женечки короткие, колесом, вдобавок он носит громадные длинноносые сапоги-казаки из какой-то ветхой рептилии: шелушащиеся чешуины размером с сушеных тараканов. Вот один сапог с глухим стуком падает в прихожей, обувающийся Женечка тихо матерится и побрякивает – это никелированные цепи крупной вязки, которыми у Женечки прикованы к поясному ремню телефон, кошелек.

Женечка отлично экипирован, у него все приторочено, схвачено, под окнами его ожидает выгодно купленная автомашинка «Волга», такая же тяжелая, как и сам ездок, некогда черная, ныне перекрашенная в тускло-серый цвет, каким красят сейфы. Женечка выезжает редко – бережет машину, ненавидит московские пробки; очень может быть, что это все предлоги, за которыми Женечка скрывает факт, что машина многие месяцы не на ходу. Вот и сейчас он, похожий сверху на куст в горшке, обходит со всех сторон свою хорошо припаркованную собственность, дергает дверцы, попинывает покрышки. Вероятно, украсть эту машину можно только при помощи эвакуатора, тем не менее у Женечки установлена сигнализация покруче, чем на каком-нибудь «мерсе»: от первого же хозяйского рывка почтенная недотрога раздражается мявканьем и свистом, от которых закладывает уши. Эти звуки хорошо знакомы жителям соседних домов, которым Женечкина машина не дает спать по ночам, точно их общий грудной младенец; пробираясь в позднем часу среди теснот и темнот дворовой парковки, местный обитатель пуще всего бережется задеть это капризное корыто, свинцовое в свете луны. Зато Женечка доволен, у него на первом месте безопасность. Вот он горбатно залезает на водитель-

ское сиденье и глубже, в черную кожаную яму салона, где у него спрятана хитрая «секретка»; истошные вопли обрываются, оставив по себе глухую пустоту, не сразу заполняемую гортанными криками с корта и лаем собак. Хорошенько все опять заперев, Женечка неторопливо направляется к арке, за которой мелькает и вспыхивает сквозь завесу листьев лента проспекта. Походка у Женечки неровная и вдумчивая, точно он по дороге, с пользой для себя, разучивает танцы, – и все-таки он, на своих узловатых коротких ногах, решительно ни к каким танцам не приспособленных, ходит гораздо скорей, чем Ведерников на своих «интеллектуальных» титановых протезах.

* * *

Первые протезы Ведерникова были просто палки с деревянными колодками, вроде тех, что вставляют для сохранности в обувь, и с резиновыми чашками для культей, что постоянно мокли внутри и сбивались в складки. Ведерников не видел никакого смысла покидать инвалидное кресло, где было даже уютно и вспоминалось детство, когда он так же близко наблюдал руки людей, очень разные, со своими особенными запахами, с моргающими часами, которые показывали всегда разное время, индивидуальное для каждого взрослого. Но медичка протезного центра, горластая свежая тетка с вышитыми котятками на плюшевом спортивном костюме, так орала и так смотрела, что приходилось пробовать.

Следовало делать шаги, держась за никелированные штанги, тянувшиеся, как рельсы, в невообразимую даль, и смотреть не вниз, а строго вперед. Но как только медичка, крикнув, взваливала Ведерникова на старт, комната, накренившись, делала полукруг, а пол, состоявший из отчетливых шашек паркета, становился далеким и недостоверным, будто дно реки, которое прощупывают шестом. Каждый шаг с опорой на культи был крестом боли, при этом виртуальные ноги Ведерникова, ощутимые до жути, до расчесанного в тот роковой майский вечер комариного укуса, не доставали до пола, висели, скрюченные, будто лапы дохлой курицы. Потому Ведерников передвигался буквально на руках, перехватами, оставляя на штангах мокрые отпечатки, а медичка потопывала, покрикивала, напирала сзади мягкой горой, вела и толкала Ведерникова, будто кукловод куклу.

Далеко на горизонте, там, где кончались рельсы, стояли, словно в другом городе, мать и ее очередной мужчина. У матери, прежде никогда не бывавшей ни на тренировках, ни на соревнованиях Ведерникова, так и не сошло с лица выражение горькой досады, между тщательно дорисованными бровями прорезалась маленькая черная буква, инициал ее гнева. Вся она стала злая, подтянутая, спортивная, начала носить, чего прежде не бывало, яркие ветровки, кроссовки, кожаные кепки. Теперь ей приходилось возить Ведерникова на сеансы реабилитации, и она так резко управляла своей пожарно-красной «маздой», что мир двигался углами, точно на прицеле в ожидании скрытого врага.

На переднем пассажирском сиденье всегда помещался очередной он: стриженный толстый затылок, большая щека, крутые плечи, которым было тесно в салоне дамского автомобильчика. Сзади все они были почти одинаковы, эти пышущие телом мужики, в других ракурсах различия сводились к немногому: у одного нос картошкой, у другого пуговицей. Почему-то мать облюбовала именно этот тип – тяжелый, плечистый, жир как резина. Буквально с самых первых дней она принималась третировать очередного бойфренда, который сперва удивлялся, что-то нежно гугукнул, потом ярился, орал, расшибал в брызги одну из длинношеих вазочек, что стояли повсюду, все годы пустые, – и взрыв получался такой, будто пустота в посудинке была бомбой. И вот тут на мать сходило ледяное спокойствие. Она становилась недоступна и страшна в своем холодном молчании, только скрежетали заметаемые щеткой сахаристые осколки – и в совок вместе с осколками почему-то набиралось много нежного домашнего праха, хотя пол был чистым.

В то время мир был Ведерникову настолько невыносим, что любое добавление к нему – принесенное ли матерью блюдо образцовых фруктов, новое ли, пахнувшее магазином креслице на козых ножках, или вдруг распустившийся на подоконнике бледный жилистый цветок, похожий на капустницу по весне, – все вызывало приступ отчаяния, чувство, что мир одолевает, вот-вот зажмет. Стоило поставить рядом с Ведерниковым стакан минералки, как он готов был разрыдаться в голос. Единственное, что он терпел, – это телевизор, потому что мир там был искусственный и уменьшенный так, чтобы помещаться в плоском ящике. Понятно, что все новые бойфренды матери, хоть и очень друг на друга похожие, вызывали отвращение, которое Ведерников почти не пытался скрывать.

Тут было бы в самый раз появиться отцу Ведерникова, от которого достоверно сохранилось только имя: Вениамин. Когда Ведерников был еще дошкольник, он, предаваясь суевериям и мифам сумрачного детства, по очереди принимал за отца нескольких совершенно разных мужчин. Был один с густой и рыжей, пахнувшей хлебом бородой и с мохнатым животом, на котором всегда расстегивались пуговицы; другой все время жевал изнутри впалые щеки и протирал очки большим, похожим на кухонное полотенце носовым платком. Третий, веселый, с золотыми передними зубами, имел много денег и всегда притаскивал целую гору нежно шуршавших пакетов с красиво упакованными вкусностями; четвертый, напротив, был беден и нездоров и приносил одну только блеклую розу, держа ее перед собой, как свечку в церкви. Все это были наваждения, самому себе рассказанные сказки. В доме не хранилось ни единого отцовского снимка, образ его был вытравлен, выкромсан из тех любительских, мутно-цветных фотографий, где мать улыбалась, как ангел, прислонившись виском к пустоте. Вот именно этой чудесной улыбки, округлявшей лицо и мерцавшей в глазах, Ведерников ни разу не видел наяву.

И все-таки отец присутствовал: не имеющее облика и массы, но физически реальное тело, вытеснявшее из квартиры часть воздуха. Во все эти годы у матери с отцом, похоже, продолжались отношения, все более болезненные и запутанные, не излеченные и не оборванные ни единой настоящей встречей. Постоянно нужны были мужчины, чтобы платить по отцовским счетам. Эта насущнейшая нужда сообщала матери какое-то дьявольское очарование: Ведерников был последним, кто мог это оценить, но и он наблюдал разрозненные признаки, вроде алого лоска на скулах или особенного, медленного поворота головы, когда мать вынимала из шелковой мочки длинную серьгу. Она всегда носила много украшений, всякий раз не меньше полкило золота и камней, были в ее коллекции просто чудовищные экземпляры, вроде шершавого кольца, похожего на витую булку с изюмом, или тяжелых, мужского размера часов, где не видно было времени из-за бриллиантов. И все это как-то ей подходило, было на ней заметно, даже совсем издали, когда расстояние смазывало подробности. Наблюдался странный эффект: мать, вспыхивая подвесками и кольцами, буквально искрила, будто электрический прибор с неисправной проводкой, по этому явлению ее можно было различить хоть за километр. С матерью явно творилось неладное, но Ведерников предпочитал не заморачиваться. Ему хватало работы с наладкой своего летательного аппарата и с плитой пространства, не пускавшей его к восьмиметровому рубежу. Теперь же, когда Ведерников остался без своей работы и без ног, ему иногда казалось, что если силовая паутина у него наследственная, то отец, вполне возможно, плавает, будто невидимый воздушный шарик, где-то под потолком.

* * *

Вряд ли мать получала от своих бойфрендов что-то, кроме удовольствия выставить вон. Она сама зарабатывала на жизнь, имела хороший бизнес: магазин элитного дамского белья. Там, на хрупких крошечных вешалках, парили, подобно тропическим бабочкам, кружевные эфемерные изделия, чем эфемерней, тем дороже. Этот очевидный переход вещественного истончения в деньги, казалось, делал самый воздух бутика золотым. В перенасыщенном рас-

творе денег все звуки были смягчены, нежно звякали кассы, глухо горели рамы зеркал, так хитро устроенных, что попадавший в них человек вытягивался и как бы начинал делиться наподобие инфузории, за счет чего талии у клиенток получались вдвое тоньше, чем были в действительности. Подростком Ведерников изредка бывал у матери в магазине и, как всякий подросток в подобной ситуации, чувствовал себя уличенным. Он словно вдруг оказывался, полностью одетый, в жарко натопленной бане, школьная форма и куртка делались тяжелыми, неуместно шерстяными на теле, просившем свободы; весь этот панцирь из ткани был слишком груб по отношению к нежнейшему кружеву, к тому белому, теплomu, отраженному в зеркале, что показывалось иногда в просветах между шторами примерочных кабин. Ну, а офис у матери был самый обыкновенный, с пропыленным до потрохов чумазым компьютером, с горой бумаг, напичканных скрепками и цифирью, с обломками печенья на сером блюдецке возле лопочущего чайника.

Лишившись ног, Ведерников больше не совался в тот волшебный магазин, да ему и не хотелось таскать куда-то свои обрубки и двигаться в том слое человеческой массы, где преобладают локти. Однако, по косвенным признакам, мать открыла еще два или даже три кружевных бутика: однажды, когда ехали на массаж, в незнакомом месте сверкнула знакомая вывеска с каллиграфическими литерами, и манекены в витрине, смуглые, будто мед и шоколад, располагались тоже каким-то знакомым образом, словно новый состав актеров играл много раз виденную пьесу. Бизнес у матери явно шел в гору. Она поменяла машину и теперь пилотировала красный «мерседес», на три тона более жгучий, чем старая «мазда».

Она все реже ночевала дома. Такое случалось и раньше: без предупреждения и без звонка наступал бессмысленно поздний час, когда тишина мегаполиса, представлявшая собой не чистую пустоту, но плотный туман из множества не различимых сознанием звуков, как бы оседала на дно, и делались отчетливо слышны железные громы мусоровозов, дальние крики какого-то неизвестного транспорта, близкий, прямо под окном и стеной, человеческий смех. Ведерников, становившийся среди этого всего маленьким, буквально пятилетним, переставал ждать. После того как стряслось чудесное спасение Женечки Караваева, мать несколько месяцев исправно ночевала у себя в постели, хотя по большей части не одна, а с бойфрендом, чьи пухлые кроссовки Ведерников давил колесами электрической коляски, когда путешествовал ночью в переоборудованный, никелированными штангами опутанный туалет. Только когда стало совершенно ясно, что калека может сам себя обслуживать и, передвигаясь по квартире, не крушит гарнитуров, мать вернулась к собственной жизни, потому что другой у нее не было.

Далеко не сразу Ведерников сообразил, что мать приобрела, только для себя одной, новую квартиру. Вещественный мир, поначалу наступавший и теснивший, постепенно стал прореживаться, легчать. Первым пропало новое кресло, оставив по себе на паркете длинную свежую царапину; потом куда-то делись флаконы и шкатулки с туалетного столика, в ванной засохла мамина зубная щетка, превратилась в колтун желтых колючек и окаменелой пасты. Однажды утром Ведерников не увидел на привычном месте в коридоре квадратного толстого зеркала, голая стена буквально била по глазам, будто в ней было что-то замуровано. И, наконец, однажды сам собою, со сварливым и вопросительным скрежетом, раскрылся в маминой с бойфрендами спальне платяной трехстворчатый шкаф.

Ведерников на своей навороченной коляске размером с мини-трактор прежде не заруливал в мебельные теснины этой комнаты, пышной и душевной, всегда наполненной испарениями жизни. Теперь из спальни пахло как из пустого бумажного мешка. Ведерников, с нехорошей пустотой в груди, резко въехал, зацепился колесом за хрупкий торшер, тот негодуя затряс матерчатым ведром с лампочкой. В обширных недрах гардероба, где раньше тяжелым театральным занавесом висела женская одежда, было просторно и пусто, как в сарае, на дне чертеж из пыли обозначал стоявшие здесь еще недавно обувные коробки. Сутулая вешалка, пожав плечами, совершенно как это делала мать, спустила вниз какую-то скользкую, ветхого шелка рас-

пашонку, и за нею открылся неизвестно сколько здесь провисевший, неизвестно кому принадлежавший мужской костюм. Ведерников дотянулся до него палкой, выловил, будто из озера, из окружавшей его теперь недоступности. Костюм был в полоску, с большими ватными плечами, точно внутрь были зашиты тапки. За долгие годы, пока он был погребен и стиснут всеми этими горами женского, по отдельности нежнейшего, вместе тяжкого, будто земля, костюм сделался плоским, предназначенным словно не для живого человека, а для фотографии в человеческий рост. Ведерников обшарил ссохшиеся карманы, в надежде найти подтверждение, что костюм действительно отцовский. Там обнаружились черные советские копейки, два простых до наивности ключика на проволочном кукане, спекшиеся спички в раздавленном коробке и отдельно, в нагрудном кармане на застегнутой пуговке, два полуистлевших билета в кино с неотрванным контролем, на фильм, который давным-давно закончился и никогда не начнется.

* * *

Мать продолжала приезжать по три-четыре раза в неделю и в конце концов признала, что новая квартира существует. Больше она не добавила ни слова, всем своим видом показывая, что ситуация не комментируется. Ведерников понимал, кем стал теперь для нее: очень долго живущим и очень дорогим в содержании домашним животным. С матерью случилось то, чего она избегала всегда: отказывалась принимать котят, хомячков, о собаке пресекала всякую речь. «Что я буду делать, если он заболеет?» – спрашивала она сурово, отвергая очередного, дрожавшего на нетвердых лапах детеныша, и после мыла руки до локтей, положив на раковину мокрое, с тающим камнем кольцо.

Только теперь Ведерников догадался, что причина была не в брезгливости, а в невыносимой ответственности, которую накладывала бы на мать эта маленькая зависимая жизнь. Ей пришлось бы кормить и лечить существо, воскрешать, если надо, наложением рук: только сделав для существа полностью все, она могла прорваться к собственной полной свободе, а неполная свобода ей была не нужна. Странно думать, что когда-то она решила на ребенка: теперь история собственного появления на свет представлялась Ведерникову какой-то темной загадкой, событием гораздо более таинственным, чем обыкновенно бывает рождение человека. Но, видимо, именно тогда мать получила решающий урок. «Ты много болел и спал подряд не больше сорока минут», – вот все, что слышал от нее Ведерников о собственном младенчестве, из которого в личной памяти остались желтый цвет какой-то игрушки да еще пылесос, со свистом и хлопками вбиравший газету, которой Ведерников его кормил. Странно, но матери он в те полутемные времена совершенно не помнил, разве что принимал за нее всех большедетельных существ, пахнувших по-женски, то есть чем-то хлебным и рыбным. Но сейчас приходилось верить, что мать тогда неотлучно состояла при нем и страшно с ним намучилась.

Вероятно, все дело было в чрезвычайно низкой выработке свободы: матери приходилось целый день стирать пеленки, греть бутылочки, качать орущий сверток, с которым Ведерников себя умозрительно отождествлял, – чтобы потом полчаса смотреть тогдашнее тусклое тиви. Ведерников вполне мог представить, что вся дальнейшая жизнь матери стала повышением выхода свободы на единицу труда – и тут, конечно, были совершенно лишними все эти котятки и щенятки с их ненасытными сиротскими нуждами, горячими поносами и маслянистыми блохами на очаровательных мордочках. В общем, мать никого не приняла и выстроила жизнь. Но тут случилось непоправимое: бывший младенец, вместо того чтобы стать в положенный срок полноценным и отдельным от нее человеком, может быть, даже европейским чемпионом, вдруг превратился в навсегда зависимое существо, в какую-то домашнюю обезьяну, что лазает по квартире на четвереньках, потому что не любит использовать протезы. Мать честно приняла удар, и Ведерников знал, что не услышит от нее ни одного сочувственного слова, но получит все лучшее, что можно купить за деньги.

* * *

А если разобраться, что оно такое, это сочувствие? Разве может один человек действительно пережить то, что испытывает другой? Вот Ведерникову уже за тридцать, и хоть опыт его в бытовом отношении ограничен, зато в ментальном смысле неповторим и страшен. Ведерников прошел через провалы холодного отупения, когда не берешь в руки предмета, потому что не можешь вспомнить его названия, и на нижней челюсти успевает отрасти сорняк пегой бороды. Он погружался в области ужаса, когда ошпаривает внезапно, по многу раз на дню, а потом не можешь отдышаться, придерживая ладонью готовое выпасть сердце. У Ведерникова имелся многократный опыт самоубийцы, и не потому, что он это замышлял или как-то готовил. То, что для обычного человека представляло собой нормальную городскую поверхность, по которой запросто ходят двумя ногами, для Ведерникова было чередой зыбей и пропастей. Застрыв на обрыве ступеньки, не в силах совладать с разной длиной и общей косностью протезов, он ощущал то же головокружение, ту же мятную щекопку в жилах, что другой бы испытывал, стоя на самой кромке налитого до краев пустотой синего ущелья или, безо всякого ограждения, на тридцатом этаже, под напором огромного воздуха, с бисерной улицей у самых башмаков. Так же точно притягивали бездны, для Ведерникова зияющие повсюду, – и силовая паутина, никуда не девшаяся, но на свой манер сошедшая с ума, завязывалась в такие искрящие, бьющие током узлы, что легче казалось броситься вниз и умереть, чем дотерпеть в живых хотя бы до завтра.

Тем не менее терпишь, и даже засыпаешь, проглотив водяной ком с двумя плохо разжеванными таблетками, – а наутро проснешься и вспомнишь, и все твое горе с тобой, освеженное, бодрое, словно только вчера произошедшее. И все это на фоне жгучего, всеобъемлющего сожаления, предмет которого преспокойно живет в соседнем подъезде, жрет чипсы, покуривает в рукав, каждое лето вырастает из штанов.

Судите сами: если бы люди и вправду имели способность к сочувствию, они бы сбегались смаковать Ведерникова, как сбегаются зеваки насладиться свежей автокатастрофой или красным варевом пожара. А то, наоборот, расползались бы прочь, с пищеводами, сожженными его ядом и его желчью. Но окружающие едва достаивали вниманием его сухую, комнатного известкового цвета физиономию, его шаткую на протезах походку. Ведерников знал многих ампутантов, по-разному редуцированных: от практически целых экземпляров до похожих на коряги человеческих обрубков. Почти у всех матери были добрые, самоотверженные, про них даже говорили – святые. Этих женщин роднила какая-то искусственная бодрость, сообщавшая их движениям автоматизм и неловкость заводных игрушек, – а глаза у всех были больные, с поволокой бессонниц. Боль, конечно, была настоящей, кто бы посмел в этом усомниться. Однако Ведерников догадывался – испытывая при этом тайный стыд, – что те трогательные существа, которых так жалеют эти увядшие мадонны, очень мало совпадают с их реальными детьми. Чаще всего это были четырех-пятилетние ребятишки, какими их помнили матери, только увеличенные до взрослых размеров и затем уменьшенные калечашей операцией, не понимающие, что с ними стряслось и за что. А реальные ампутанты, люди взрослые, злые, много чего в своей жизни натворившие, по большей части тяготились материнским страданием и материнским присмотром.

Таким образом, Ведерников целиком и полностью оправдывал собственную мать. Он считал, что мать все делает правильно. Ему нравилась ее обезжиренная, слегка мумифицированная молодость, ее энергия, хватка, ее манера резко, с визгом и дымком от горящих покрышек, водить автомобиль. Он был благодарен матери за деньги, которые она на него тратила. И совершенно не имело значения, что он скучал по ней особенно пустыми и черными вечерами и разбирал немногие, уже обветшалые вещи, что бросила она на старой квартире,

с таким чувством, точно он ее похоронил и теперь стало можно брать в руки ее лоснистый халатик, ее сухие, как папиросная бумага, рваные чулки.

ii

Тренер дядя Саня не показывался два года – или три года, Ведерников времени не наблюдал и не хотел. Когда же он явился, Ведерникову, с трудом раскрутившему замки на тяжелых, норовивших заклинить коляску дверях, показалось, что тренер пришел не сам, а прислал вместо себя какого-то подержанного двойника. Дядя Саня потемнел, обрюзг; вошел, словно навьюченный собственным весом, словно всяким движением и самим существованием исполнял тяжелую подневольную работу – и вот теперь решился сделать самое тяжелое. «Чего, как живешь-можешь», – буркнул он, глядя куда-то поверх Ведерникова, может быть, на Ведерникова настоящего, который встречал бы тренера стоя. Под обтерханным свитером у дяди Сани обозначилось брюшко, и когда он устраивал на вешалке волглую куртку, под мышкой его обнажилась прореха с курчавой ниткой, почти истлевшей.

Прежде дядя Саня несколько раз бывал у Ведерникова дома, и мать светски угощала его сырами и белым вином, которое тренер не пил, только мочил скептический рот и вежливо хмыкал. Сейчас из спиртного имелась оставшаяся от бойфрендов водка в двух початых бутылках, шибаящая одна бензином, другая средством для чистки стекол, зато еды был полный холодильник – внутри было темно от лежалой, смокшей, набрякшей снеди, с полок выпирали колбасные кольца, горбы ветчины, рыхлые яблоки размером с голову снеговика. Ведерникову пришлось, извинившись и провозившись полчаса, надеть протезы, чтобы накрыть на стол. «Ходишь, значит?» – голос тренера, увидавшего, как Ведерников ковыляет, хватаясь за мебель, вдруг стал пронзительным, точно дядя Саня поймал своего ученика на чем-то нехорошем. Ведерников и правда едва справлялся, новые протезы на гидравлике, еще не совсем отлаженные, как-то брыкались, левая ступня то и дело норовила встать на цыпочки. Но тренер явно винил Ведерникова в чем-то большем, нежели неровная походка. Пока Ведерников кромсал, пиликая по тарелке ножом, просмоленный красный сервелат, дядя Саня налил себе из бутылки, той, что с бензином, полную стопку и сосредоточенно двигал ее по скатерти, будто шахматную фигуру. Потом, горько сморщившись и глядя перед собой невозможными глазами, замахнул гадость прямо в горло.

И пошел разговор. Почему тренер так долго не навещал Ведерникова? Потому что не мог. Не мог сказать, все время держал секрет в себе, будто полный рот воды, которую не проглотить, подавишься. Восемь метров тридцать сантиметров, это минимум, ты понимаешь, герой сраный? Да, дядя Саня мерил-перемерил, порвал брюки, нашел пятьсот рублей, его самого чуть не сшиб насмерть вонючий грузовик. Дядя Саня так изучил тамошний потресканный асфальт, будто это карта родного края. А Ведерников знал? Честно говори, в глаза смотри. «Да откуда, я же не ползал там с рулеткой», – грубо ответил Ведерников.

На это тренер так хватил бурым кулаком по скатерти, что вся посуда скакнула. Ну, знал, допустим. То есть не знал, чувствовал животом. Этого было нельзя толком объяснить, но Ведерников попытался рассказать угрюмому тренеру, навалившемуся грудью на свою тарелку с истерзанными закусками, что он, Ведерников, не хотел никого спасать. Просто там, за восьмиметровой отметкой, прежде ничего не было, и вдруг возник пацанчик с его крутящимся мячом. Что-то вроде буйка или мишени, что-то реальное. Дядя Саня слушал и только сопел, не забывая подливать в свою мокрую стопку горючую отраву; всякий раз перед тем, как выпить, он крепко зажмурился, и сморщенное лицо его принимало выражение, какое, вероятно, бывает у человека, которому вот-вот отрубят голову. «И все-таки ты не захотел дорогой славы, позарился на дешевую, – заключил он в ответ на сбивчивые объяснения Ведерникова. – А за дешевую славу платят втридорога, так-то».

Обсуждение великой тайны спортивного рекорда как будто закончилось ничем. Но дядя Саня почему-то был уверен, что в изувеченном Ведерникове, будто стройный кристалл в

бесформенном куске породы, по-прежнему заключено сокровище. «Ты же спортсмен, ты по натуре и по судьбе чемпион, – заявил он уже в коридоре, так хватив неустойчивого Ведерникова по плечу, что оба они чуть не повалились на ветвистую вешалку. – Я тебя верну в настоящий спорт, попомни мои слова!»

* * *

Посещение тренера было странно и тягостно; Ведерников никак не мог поверить, что суровый дядя Саня, прежде не бравший в рот ни капли, хлещет теперь водяру, как обыкновенный бомж. Ведерников надеялся, что тренер не вернется. Миновала неделя – шли тяжелые, с ветром, дожди, казавшиеся, из-за того что горели культы, белым кипятком, – и образ тренера как-то поблек, сделался почти безопасен. Но в самое первое погожее утро заерзал мобильник, и бодрый голос дяди Сани объявил, что надо, мол, ехать, что он внизу, ждет.

Ведерников редко выбирался из дома сам и предпочитал коляску, в которую научился лихо, рукастой обезьяньей хваткой, себя перебрасывать. Но что-то в голосе тренера, какой-то металлический отзвук прежнего дяди Сани заставил его надеть капризные новые ноги, кое-как натянуть на ступни-полозья тугие, с похабными искусственными пальцами, силиконовые калоши, сверху носки и ботинки. Уже в лифте, тяжело опираясь на костыль, Ведерников пожалел, что пустился в такое рискованное путешествие. Виртуальные ступни, которые он ощущал почти всегда босыми, прели и парились во всех напаянных слоях, большой палец правой, в реальности сожженный в больничной котельной или догнивающий где-то на свалке, чувствовался страшно распухшим, размером так с куриное яйцо. На рябом от сырости крыльце Ведерников чуть не поскользнулся, мир затанцевал и с вибрацией, рокотом, будто железный поднос, улегся опять. Яркая небесная синева была холодна, тут и там в древесной листве желтели, точно лимоны, пораженные осенью листья, между чернильной астрой и набухшей скамейкой сверкала, словно драгоценность, густая паутина, вся в каплях. Дядя Саня махал Ведерникову из помятого «москвича», торжественно стоявшего посреди зеркальной лужи, словно синий корабль.

«Вот сейчас ты увидишь людей, – приговаривал дядя Саня, запуская надсадно цыкавший мотор. – Это люди, настоящие, да!» «Москвич» с томным журчанием миновал полузатопленную арку, где на трещинах штукатурки играла водяная солнечная сетка, и выскочил на проспект, вправо бежавший, а влево стоявший Великой китайской стеной. Завернули на улицу, мучительно знакомую: на месте, где Ведерникову раздавило ноги, трещали дорожные работы, разгуливали оранжевые грязные жилеты, ровняя лопатами горячие асфальтовые комья, могучий мужик в каске, сидевшей у него на голове, будто яблоко на еже, налегал на отбойный молоток, отваливая от покрытия черствые ломти. Ведерников, скорченный на заднем пассажирском сиденье, потому что только к этой дверце и можно было, посреди коварной лужи, подступиться, поерзал и почувствовал, что сел на что-то. Перевалившись с боку на бок, уронив куда-то в тесные недра поехавший костыль, он вытянул необыкновенно длинную, с нежными измятыми пальцами дамскую перчатку. «Дай сюда», – хрипло потребовал тренер, зыркнув на Ведерникова через зеркало заднего вида. Не оборачиваясь, он цапнул перчатку, сразу помертвевшую, и, пылая лысиной, затолкал ее в бардачок.

Целью их путешествия оказался какой-то технический колледж – скучная бурая коробка о четырех этажах, перед которой на розоватом постаменте белелся гипсовый Ленин ростом с ребенка. Дядя Саня повлек ковыляющего Ведерникова к длинному пристрою, на торце которого сохранилось советское панно: три большеногие неясные фигуры не то вздымают мирный атом, не то все вместе вкручивают лампочку. Завизжавшая дверь привела в коридор, повышавшийся и понижавшийся при помощи мучительнейших лестниц; все они, впрочем, были снабжены новенькими пандусами, недавно налитыми. По особой гулкости сумбурных выкриков и

крепких, круглых ударов Ведерников заключил, что впереди спортзал. Тотчас его обогнали двое колясочников в одинаковых, жарко пахнувших крашеной шерстью спортивных костюмах: у одного правая нога заканчивалась иссохшим коленным суставом, небрежно замотанным в штанину, у другого обе ноги были целы, но болтались безвольно, точно размокшие сигареты. Этот последний быстро обернулся на Ведерникова: полное белое лицо с парой угольных, очень широких бровей, на лбу оттиснуто что-то трагическое, уже наполовину заросшее творожистой плотью. Был бы высокий сочный парень, кабы не травма позвоночника, судя по всему.

Колясочникам издалека махал здоровенный мужик, расставивший ноги воротами и державший в крупных зубах, будто папиросу, тренерский свисток. К нему-то и устремился дядя Саня, изображая подобострастную улыбку. Мужик ждал, перетаптываясь и утверждаясь еще шире. Морда его представляла собой мясистый круг, вписанный в такой же мясистый квадрат: тяжелая, именно квадратная челюсть снизу, сверху рыжеватый еж, посередине курносая шишечка и ровные, стоматологически идеальные зубы, которые, казалось, одни и имеют значение. Ведерников подумал, что матери этот мужик мог бы приглянуться.

«Вот этот?» – пробасил зубастый тип, выплюнув свисток и посмотрев на Ведерникова очень невежливо. «Ну да, ну да, – зачастил, слегка задыхаясь, дядя Саня. – Мой бывший лучший, без пяти минут европейский чемпион, прыгун. Да только за пять-то минут, понимаешь, стряслось...» «Да вроде помню, слышал про него, – произнес мужик, смягчаясь. – Меня Володя зовут», – обратился он к Ведерникову и протянул жаркую лапу, в которой кисть Ведерникова вдруг сделалась хрупкой, точно высохшее насекомое.

Тем временем инвалиды резво, с бодрым рокотом, вкатились в спортзал. Там было таких человек, пожалуй, девять или десять. Покидав шерстяные олимпийки в братскую кучу, они гоняли налегке, в необычайно ярких колясках, каких Ведерников прежде никогда не видел. То были не кресла, а какие-то бешеные табуретки: колеса, закрепленные наискось, как бы прислоненные к сидокам, испускали трепетное сверкание, под крошечными сиденьями погромыхивали ролики, и все это крутилось, вертелось, сбивалось в кучу и вновь растягивалось в погоне за аппетитным, шоколадного цвета мячом. Игра напоминала Ведерникову какой-то аттракцион в Луна-парке, когда любителей острых ощущений пристегивают и крутят, пока пейзаж, как зелень в блендере, не измельчится и не пустит сок. Здесь, однако же, играли в баскетбол. Две совершенно нормальные, с размахренными сетками корзины бывали по очереди атакованы, игроки – живые торсы на тележках – становились на миг необычайно длиннорукими, и мяч, резко ударившись о щит, потанцевав по кольцу, иногда все-таки валился в веревочное жерло и падал в гущу колясочников, будто перезрелый плод.

«Ну, ты его попробуй, потренируй...» – бубнил неподалеку дядя Саня, заглушаемый игрой. «Да он же, смотри, не по нашей части, ну, спортивная злость, допустим, а вообще-то он...» – нехотя отвечал Володя, не забывая следить за матчем и булькать в свисток. Самое удивительное для Ведерникова было то, что баскетбольные колесницы приводились в действие не электрическим мотором, как его удобное, уже несколько просиженное кресло, а исключительно мускульной силой игроков. Мышцы у этих инвалидов были крупные, бугристые; пот, пропитавший майки, густой и черный, как нефть. То и дело кто-нибудь из них валился вместе со своей зазвеневшей колесницей, но как только Володя, длинным свистком остановив игру, поднимал креслице за шкирку, выпавший инвалид с ловкостью ящерицы забирался обратно на сиденье, устраивал культю, будто багаж, – и вот уже орал, тянулся к мячу, лихо вздыбив коляску на одно колесо. По периметру спортивного зала пять, не то шесть терпеливых женщин сидели, ссутулившись, на низких скамейках. Одна, полная, бледная, в крупных веснушках, похожих на размокшие хлебные крошки, сосредоточенно читала рыхлую книгу, норовившую развалиться на две сопряженные тряпичным переплетом ветхие части; другая, совсем молоденькая, с румянцем во всю щеку и невозможным светом в круглых глазищах, так смотрела –

всем существом! – на кого-то из игроков, что Ведерников почувствовал горечь, точно эта девчонка выбрала другого, а его, Ведерникова, бросила. Мяч бил как пушка.

«Ладно, – заключил со вздохом довольный Володя, когда игра завершилась и колясочки, сочно припечатывая друг друга по блестящим спинам, устремились в коричневую дверцу, за которой слышалось характерное гулкое шлепанье общественного душа. – Попробовать, конечно, можно, ради нашей старой дружбы. Есть у него кто или сам будешь возить на тренировки?» «Да легко! – обрадовался дядя Саня, приобняв Ведерникова и едва его не повалив. – Я и так, считай, целыми днями за рулем».

* * *

Оказалось, что бешеные табуретки, на вид такие простенькие по сравнению с напичканными электроникой креслами, стоят по три тысячи евро штука. Ведерников мог бы попросить денег у матери, и она бы только обрадовалась. Но что-то удерживало его; он и про дядю Саню не сообщил и старался устраивать так, чтобы поездки по массажистам и протезистам не совпадали с путешествиями в спортзал, совершаемыми все на том же чухлом «москвиче».

У команды, однако, имелась резервная коляска на случай поломки, и добрый Володя, потеряв в кулаке квадратную челюсть, ставшую от этого цвета свеклы, предоставил в распоряжение новенького дорогостоящую технику. Между прочим, выяснилось, что опекаемое Володей сборище лихих колясочников – не что иное, как сборная Москвы по сидячему баскетболу. Ведерников раньше о таком никогда не слышал. В самом слове «команда» была какая-то гнетущая условность. Как можно подвести к одному спортивному знаменателю спинальника Колю, сидевшего тумбой, кидавшего мяч с колен, как вот сбрасывают кошку, и живого, наглого, в лоснящихся татуировках Серегу Лебедева, у которого всей инвалидности было – отрезанная правая ступня и на левой руке редуцированный указательный, похожий на окурок? Тем не менее существовала классификация, по которой все игроки, в зависимости от увечий, получали баллы – страдалец Коля самый низкий, – и сумма на протяжении матча не должна была превышать четырнадцать. Таким образом, между игроками команды возникала тонкая связь, они становились будто сообщающиеся сосуды; увечья, как и преимущества, принадлежали всем вместе, и вместе они составляли существо о двадцати руках и девяти ногах – не совсем распадавшееся на отдельных людей, когда заканчивалась тренировка. Ведерников прямо-таки чувствовал, как спинальник Коля, налившись натугой, открывает рукой Сереги дверь в раздевалку, как чернобровый Аркаша – тот, что первым оглянулся на Ведерникова в коридоре, – подпитывается силами команды, чтобы, повисев на перекладине под крепким душем, растереть свои неживые бескровные ноги, у которых белые подошвы были нежны и студенисты, будто ступни улиток.

Переодевшись и перебравшись кто на протезы, кто на свои разномастные вихляющие коляски, инвалиды в сопровождении дождавшихся женщин почти всегда направлялись к ближайшему бару: неприятзательному заведению с батареей мутных бутылок и красными стульями вроде трамвайных, с пыльным пластмассовым плюшем на стене, издававшим тряский шорох, словно бар и правда двигался по рельсам. Там баскетболисты широко занимали сдвинутые вместе липкие столы и под водянистое пиво, откровенно отдающее водопроводом, под жирную щепу раздираемой рыбы вели душевный разговор.

Ведерников, собственно говоря, так и не сделался у них своим. На самом деле он никак не мог поверить, что вот эти мускулистые обрубки действительно занимаются спортом. Чувство было, как у профессионального, пусть и в отставке, военного к сборищу штатских мужиков, играющих в войну. Никто из команды в прежней жизни не тренировался, не ходил в спортшколы и секции – за исключением наглого Сереги, второразрядника сразу по нескольким дисциплинам, от лыжных гонок до академической гребли. Ни у кого из них не было особого, по

часам расписанного детства, состоявшего из тренировок и сборов, не было подъема по крутой, все более сужавшейся дорожке в будущее, когда вот еще немного вверх – и увидишь через границы и океаны своих конкурентов, которые тоже на тебя смотрят. В команде инвалидов вместе с молодыми играли и перестарки: одному морщинистому жизнелюбу, с пустыми длинными щеками и подбородком в виде котлетки, нависающим над жилистой шеей, явно было сильно за сорок, а то и все пятьдесят. Словом, все тут было как-то не по-настоящему – хотя над сборной витал туманный призрак паралимпиады в Польше, куда через год, если расщедрится спонсор, все они надеялись попасть.

Ведерникова обескуражило, что те сидячие трюки, которые так ловко проделывали колясочники-баскетболисты, оказалось не так-то просто исполнить. Бешеная табуретка под ним катилась и крутилась вовсе не туда, куда Ведерников ее направлял, он словно сидел в плавающем тазу, отзывчивом на любой толчок, но уже черпнувшем воды. Еще хуже получалось с ведением мяча. По правилам полагалось на два обжигающих ладони удара по колесам по крайней мере раз бить мячом об пол – либо пасовать другому игроку, относимому общим кружением в гулкую даль. При этом мяч, кожаный, очень материальный, пока его держишь в руке, обнаруживал свойство бесследно растворяться, стоило им на ходу стукнуть. Пока Ведерников крутился, полагая, что злокозненный снаряд запутался под сиденьем, среди роликов и крестовин, – мяч тихо возникал за пределами площадки, совершенно целый после попадания в незримую область, ухмыляющийся из-под юбки смущенной болельщицы. Баскетбольная корзина проходила высоко над головой, точно солнце в зените, достичь ее броском казалось делом невозможным. А самое главное – вся эта якобы спортивная суета производилась в нижнем, грубом слое действительности, силовая паутина только резала и натирала, будто резинка трусов. Единственный раз она вострепелась: когда мяч, запущенный тем самым жилистым перестарком, вдруг завис в наивысшей точке полета на долгие, долгие секунды, невесомый, неуязвимый, остановивший и уравновесивший мир, – прежде чем ринуться вниз, мимо кольца, на непропорционально крупную, точно взятую у какого-то монумента голову спинальника Коли, так утвердив его тугую вертикаль.

* * *

Инвалиды-баскетболисты не только показывали Ведерникову, как надо обращаться со свойствами колеса и шара – математическими и мистическими, – но и пробовали его учить, как следует по-мужски справляться с судьбой. Постепенно, за пивом и воблой (которые категорически исключались нормальным спортивным режимом), Ведерников узнал по частям, по фрагментам, иногда не совпадающим рваными краями, их житейские истории. Спинальник Коля в прошлом был дальнобойщик, водил тяжелый американский трак с громадным, как железные ворота, радиатором, с двумя никелированными трубами и боковыми зеркалами размером с музыкальные колонки. Этот трак, будто паровоз, тянул по трассам целые грузовые составы, которые Коля виртуозно вписывал во все прихотливые кривые дорожной разметки. На своем жарком чудовище Коля проехал всю Россию и всю Европу, причем последняя ему не особо понравилась из-за скучной стриженной зелени и толстых баб в дорожной полиции. Несчастье с Колей произошло не на трассе, как можно было ожидать, а дома, ранним июньским утром, в блаженный выходной. Было что-то такое заманчивое в воздухе за окном: нежная утренняя дымка исподволь пропитывалась солнцем, и балконы, деревья, развешанные простыни словно ничего не весили – не пейзаж, а сплошная папиросная бумага и воздушные шары. Коля, совершенно трезвый и совсем не с похмелья, распахнул с треском тугую оконную створу, окунулся в лучистую свежесть – и нечаянно столкнул забытые с вечера на подоконнике женины часики на позолоченной браслетке. Коля, надо сказать, был весьма рачителен по части вещей, брал в поездки все нужное и не терял ни единой мелочи, на каких бы стремных стоянках ни прихо-

дилось кантоваться. Теперь он осторожно высунулся, взглядом проследил виляющее падение ценного предмета, намереваясь быстро сбегать вниз и подобрать, пока никто не увел. Вспыхнув, точно золотая рыбка, часики нырнули в газон, и Коля нагнулся сильнее, чтобы хорошенько запомнить место: сочетание крапчатого камушка и ворсистого сорняка. Это сочетание осталось с Колей навек, потому что в следующую невероятную секунду тапки его предательски заскользили по полу, железный карниз проехал, раздирая майку, по ребрам, все кувыркнулось, хлынуло – и мир загудел от огромного удара, пришедшегося в самый центр Колиного естества. Теперь спинальник Коля считал себя счастливым. Он остался жив, любил жену – ставшую за считанные месяцы похожей на покойную мать и все читавшую, при любой возможности, толстые книги, которые, за неимением денег, собирала целыми связками по окрестным помойкам, благо многие их выбрасывали.

А вот жилистый перестарок, откликавшийся на Корзиныча, считал себя учителем жизни. «Первая наша победа – ссать как мужики, да!» – рывкал он на всю замолкшую пивную, и Ведерников, тайно журчавший в унитаз как пожилая тетенька, опускал смущенный взгляд под изрезанный стол. Кличка перестарка объяснялась не успехами в баскетболе, это у него была такая фамилия: Корзинов. До своего увечья Корзиныч был актер и даже снимался в кино. Ведерников теперь понимал, почему плохо выбритая, соленая и перченая физиономия Корзиныча сразу показалась ему смутно знакомой. Припоминался он же, молодой, ясноглазый, с живенькими желвачками и косым вихром на вскинутую бровь, – только на экране глаза Корзиныча были ярко-голубые, а в реальности оказались цвета болотной водицы, с толстой родинкой на левом веке, придававшей взгляду перестарка странную двусмысленность. Корзиныч некогда снимался в популярных советских фильмах – но всегда на вторых и третьих ролях: играл рабочих пареньков, честных на производстве и несчастных в любви. В перестроечную эпоху Корзинычу довелось воплотить совершенно новых людей – криминальных братков в тяжелых кожаных и с обритыми бошками: тут оказалось, что у Корзиныча весьма киногоеничные уши, напоминающие крупные розы. Но роли были все равно самые ничтожные, вместо традиционного «Кушать подано» – «Гони, сука, бабло». Носу Корзиныч потерял на съемочной площадке: была приятнейшая натура, сельская местность, разомлевший пруд, подернутый растительным пухом и мошкаррой, на взгорке пятнистая корова, дородностью напоминающая Россию, – но вдруг операторская тележка, лязгнув, поехала под уклон, и Корзиныч ей как раз подвернулся.

В районной больничке, куда фургончик съемочной группы, скача на ухабах, кое-как доставил пострадавшего, в открытый перелом занесли заражение, и носу пришлось резать, уже в Москве. После ампутации и года тихого алкоголизма, наложившего на лицо Корзиныча необходимое количество серого грима, бывший актер вернулся в мир своих ролей, только уже по-настоящему. Он был теперь работяга и бандит в одном флаконе: слесарил потихоньку на скромной, выпускающей цветастые диваны мебельной фабрике, а для себя, для денег и для души, растачивал газовые стволы под боевой патрон. Неприметные, слегка одутловатые личности, приобретающие у Корзиныча его безотказный продукт, несколько разочаровали бывшего актера в том романтическом мире криминала, что воссоздавался из крашенных частей на съемочной площадке. Реальность в виде тихого, будто кровотока, рынка вооружений и прокуренной, проматеренной до черной копоты фабричной слесарки оказалась всего лишь копией фильмового пространства, отнимавшего теперь у реальности право быть настоящей. Зато здесь, поскольку каждый человек сам себе главный герой, одноногий Корзиныч по праву выступал в роли наипервейшего плана. Он присвоил картинную манеру пролетариев сжевывать вязкий плевок на кривой папиросный окурочок, перенял у киношных блатных гнусавый говорочек с оттягом, способ носить плоский кепаик козырьком на носу и руки по локоть в штанах. Со стороны это смотрелось игрой, все менее профессиональной по мере того, как Корзиныч удалялся от своего актерского прошлого. Но перестарок наслаждался. Он нежно полюбил свои пистолетики-револьверчики, их угловатую тяжесть, железный суставчатый хруст, отдачу в плечо.

Немало банок из-под пива сплясало под пулями калибра 6,5, немало жеманных, как женщины, стеклянных бутылок разлетелось, всхлипнув, яркими осколками – и был один задастый кролик, удиравший с энтузиазмом, будто сказочный Колобок, но, с задержкой дыхания, наступивший.

* * *

Корзиныч был главный пропагандист идеи, вдохновлявшей баскетболистов-колясочников: «Мы не хуже других, мы лучше других». В каком-то смысле так и было: себестоимость всякого действия, вот хоть посещение душевой, оснащенной разными перекладинами и поручнями и после тренировки напоминающей одновременно коробку с насекомыми и орбитальную станцию, настолько превышало затраты на то же самое у целых организмов, что любой здоровый ужаснулся бы и остался грязным. Классификация, сводившая сумму увечий игроков к четырнадцати баллам, не учитывала болевых ощущений, что было специально прописано в правилах. Но боль была, она была реальна, и гримасы свирепости, искажавшие на площадке потные лица игроков, на самом деле выражали ее, боль. Боль во многом вылепила эти совершенно разные мужские физиономии, проложила свои морщины, ставшие у каждого члена команды в буквальном смысле главными чертами лица; из-за этих характерных морщин лица баскетболистов, даже когда они в расслабке тянули пиво, напоминали морды тигров.

Еще одним врагом колясочников, едва ли не страшнейшим, было государство. Все баскетболисты пребывали на разных стадиях одной и той же борьбы за свои инвалидные льготы, собирали справки, писали в прокуратуру, обращались в суды. Некоторые таскали с собой в рюкзаках пухлые папки с ветошью документов – летописи судьбы на одинаковом для всех канцелярите – и вслух зачитывали перлы обтекаемой подлости, получаемые в ответ на свои законные требования. Чернобровый Аркаша, например, имел неосторожность, поскольку в социальном фонде долго не было денег, сам купить инвалидную коляску, полагавшуюся ему бесплатно. Теперь фонд не желал компенсировать траты по чеку, потому что Аркаша приобрел слишком дорогой экипаж, тогда как ему следовало быть гораздо скромней. На самом деле коляска, о которой переписка шла точно о представительском лимузине, была брезентовым стулом на визгливых громоздких колесах, причем подножки, напоминавшие железные педали слива в общественных туалетах, регулировались только теоретически. Как во многих гражданских изделиях российского производства, в этой коляске было что-то армейское, грубое, солдатское, требующее стойко сносить тяготы службы. То же самое относилось к бесплатным протезам, изготовители которых, казалось, держали в уме не человеческую ногу, а винтовку Мосина. Все баскетболисты, имевшие несчастье ими обзавестись, «переобувались» по десять раз на дню, пытаясь как-нибудь поудобнее приладить косное изделие, сообщавшее о своей чужеродности и твердости на каждом мучительном шагу, но все равно к вечеру культя напоминали окорока, натертые красным перцем.

Среди баскетболистов не было ни одного, кто не судился бы с государством, а наглый Серега сам был под судом. Бумажная судьба свела его с коммунальным чиновником, кислым толстячком, от витиеватой подписи которого зависели льготы по многим платежам. Дело было как будто обыкновенное – но чиновник оказался изворотлив, вежливо просил «донести справку», а пока эта справочка готовилась, у какой-нибудь предыдущей заканчивался срок действия. У виртуоза было все рассчитано буквально по часам, он создал идеальный безвыходный лабиринт, своего рода петлю Мебиуса, – и сделал это не со зла, как думали многие инвалиды, которым его подпись, громадная, будто дым из фабричной трубы, снилась по ночам. Если бы толстячок мог чувствовать злость, полноценную, яркую, он, возможно, был бы счастлив. Беда его, однако, заключалась в том, что он почти ничего не чувствовал, только иногда тупое давление и мурашки, как вот бывает в отсиженной ноге. Отсиженной душе толстячка требовалась

кровь, чужая на худой конец; толстячок питался чувствами своих подопечных и жалел отпускать наиболее вкусные экземпляры, из которых татуированный ампутант, подорвавшийся на mine в Чечне и до сих пор словно окутанный земляной и дымной взвесью этого взрыва, был самый яростный, самый интересный.

Чиновник, однако, не предполагал, чем именно питается, он понимал только градус, но не вкус. А Серега Лебедев прошел большую школу ненависти, его тренировали все – и чечен Муса, с носом как гнилая груша и собачьей шерстью на щеках, пытавший его в плену, и румяный прапорщик Гушин, бог мародерки, почти целиком положивший отделение, чтобы вывезти свое награбленное барахло, и бывшая супруга, красивая, будто кукла из магазина, творившая все и со всеми, пока Серега валялся в госпитале. И вдруг эта тренированная ненависть сошлась, сузилась в луч, в точку, загоревшуюся как раз на плоской переносице чиновника. Серега буквально ощутил в руке фантомную тяжесть своего Макарова, тут же восполнил ее отсутствием чем-то, схваченным со стеллажа (корпоративный подарок, полый жестяной факел, в котором бренчал какой-то мелкий предмет), прицелился, метнул – и, к несчастью, попал.

Кровь, хлынувшая из рассеченного лба чиновника, была, как показалось Сереге, густо-шоколадного цвета, пятна ее, расплываясь на белой рубашке, создавали впечатление не травмы, но трапезы, обильной и калорийной. На удивление, череп толстяка, защищенный вдобавок тюленьим слоем жира, оказался крепок, все свелось к телесным повреждениям средней тяжести. Чиновник, даже не потерявший сознания, даже не получивший сотрясения своего компактного, резиновой плотности мозга, а нападением ампутанта чрезвычайно польщенный, развил бурную юридическую активность. В туманных, но неотвязных мечтах чиновник видел уже депутатское кресло; зная хорошо, что к этому креслу ведет совершенно любой поступок, делающий персону известной электорату, толстячок напористо давал интервью маленьким подмосковным телеканалам, причем шрам у него во лбу, кривой, грубо зашитый, выглядел гораздо страшней, чем реально полученный ущерб. За Серегу заступались ветеранские и инвалидные организации, даже функционеры паралимпийского комитета писали положительные характеристики, но дело фатально шло к условному сроку. Чиновник, лучась человеколюбием, публично обещал забрать заявление, если господин Лебедев извинится в прямом эфире; на это Серега многоэтажно матерился, и полный бар выпивох был свидетелем того, как ветеран, с желваками будто грецкие орехи и с потеками пива на вздувшемся горле, грозил эту гниду полностью добить.

* * *

Серега, несмотря на судебный процесс, оставался капитаном команды, и ему было наплевать на Ведерникова, пока он не лезет, со своими круговыми и спиральными блужданиями, на игровую площадку. Но Корзиныч, неформальный лидер, Ведерникова невзлюбил, хотя явно этого как будто и не показывал. «Ну, как продвигаются твои успехи?» – приветствовал он Ведерникова всякий раз, когда тот приволакивался, подталкиваемый в спину неотступным дядей Саней, в сырую пивнуху – несмотря на то что эти самые успехи, в виде дребезжащих падений вместе с коляской и косых, гаснувших ниже щита бросков по кольцу, все только что наблюдали на тренировке. Корзиныч же приклеил Ведерникову кличку Чемпион, на что дядя Саня страшно зыркал из глазниц цвета сырой печенки или жалобно морщился.

Вообще, прессовать новичка за то, что у него пока неважно проходят тренировки, противоречило духу этого геройского баскетбола: спорт был для колясочников чем-то святым, они во что бы то ни стало добирались в спортзал, как добираются в храм – и всякое усилие в храме было благом, шедшим в общий зачет. Корзиныч, однако, нашел у новичка уязвимое место, понятное всем баскетболистам: Ведерников был богатенький буратино и маменькин сынок, все, за что инвалиды боролись с социальными фондами, все, на что они копили по медному

грошику, буратине доставалось задарма. Всякий раз, когда в пивнухе заходила речь о недополучении и тяжбе, Корзиныч обращался отдельно к Ведерникову: «Вот, ты видал, нет, ты видал, как оно бывает?!» – и тряс перед ним разворошенными бумагами в синяках печатей и штампов. Между тем очевидный признак, по которому к Ведерникову следовало относиться плохо, был не совсем корректен. К примеру, в запасных у команды имелся некто Агапов, тихий потупленный мужчина, имевший привычку обводить мягким указательным всякое пятно на столешнице, – так вот, этот Агапов был специалист по IT, зашибал на программировании сайтов крутую денюгу. Кстати, и сам Корзиныч не бедствовал, случалось, расплачивался в баре за всех золотой банковской картой, которую с важностью вынимал из толстенького, сдобного, явно любимого хозяином бумажника. В этом же приятном бумажнике содержалась стопочка личных визиток Корзиныча, тоже золотых и очень похожих на банковскую карту в смысле тиснения и дизайна: их Корзиныч вручал собеседникам по всякому случаю, щедро и бесплатно, так что даже у Ведерникова болталось по разным карманам пять, не то шесть штук.

В действительности отношение к деньгам у баскетболистов было сложным. Каждый из них стоил достаточно дорого: коляски, протезы, процедуры, препараты. Кого-то это удручало, кто-то втайне злобно гордился. То, что полагалось им бесплатно от государства – даже если нафантазировать, что за все это не пришлось бы доплачивать нервами, бюрократическими марафонами, да, в общем-то, частью существования, – все это убогое, грустное настолько отличалось от технически возможного на сегодняшний день, что получалась инвалидность внутри инвалидности. Некоторых сводили с ума все эти микропроцессорные новинки, превращающие ампутанта в киборга и покупаемые всего лишь за розовые евро, а то и за электронные миражи. «Я есть, я живу, я у себя один, так почему?» – жалобно приговаривал Аркаша, прочитавший в интернете о какой-то чудо-операции, когда в позвоночник вживляют специальные начиненные электроникой шипы, и пациент, хоть и похожий сзади на варана, начинает бегать. Аркашу утешали, что все это разводка и фуфло, – на это он плаксиво ярился и шмякал слабым кулаком о твердую стенку.

Между тем, если денег где-то было намного больше, чем требуется инвалиду для полного апгрейда, баскетболисты воспринимали их как явление природы. У команды имелся спонсор – крупный коммерческий банк, бушующий океан денег, откуда инвалидам наплескивалась лужица. Банк не только оплачивал оговоренные счета, но регулярно отправлял к баскетболистам своего представителя для общения и поднятия духа. Представитель, мальчик в бодром галстучке и с таким же карманным платочком, чем-то смахивающим на реквизит фокусника, просил называть себя Аликом и нередко сам садился в коляску, чтобы поиграть со всеми. Он азартно нажаривал по колесам, азартно охотился за неуловимым мячом – и, в общем, делал на площадке то же, что Ведерников, то есть крутился, устраивал колясочные аварии и мазал по кольцу. Получалось, что богатенький Ведерников стал для баскетболистов обезьяной представителя подлинных денег. Это ухудшило его и без того плачевный статус в команде: он постоянно ощущал вокруг себя пустоту, которую не мог заполнить дядя Саня, балагуриющий, хлопающий баскетболистов по толстым кожаным бицепсам, глотающий пивную жижу с какой-то тугой и страшной судорогой горла, но всегда со всеми и до дна.

Что-то подсказывало Ведерникову, что причина его изоляции была не совсем в деньгах, или совсем не в деньгах. Буратинство было только предлогом, под которым Корзиныч одним своим илистым взглядом внушал баскетболистам не садиться рядом с Чемпионом и не мыться с ним в одном душевом отсеке, даже если три других отсека переполнены как трамваи. Настоящая причина, в которой никто не признавался, состояла в том, что Ведерников принадлежал другому спорту, и разница была – как между чудом и фокусом.

* * *

Незаметно, мало-помалу, дядя Саня сделался в тягость. Раздражали его назидания, раздражал соленый плотский душок, проступавший сквозь все одеколоны и даже сквозь перегары похмелья, раздражал помятый «москвич» с замшелыми внутренностями, норовивший закипеть и тогда выпускавший едкий разбеленный дым, будто горящая свалка. Между прочим, в «москвиче» время от времени обнаруживались разные странные предметы: то надтреснутая пудреница, перетянутая, чтобы не разваливалась, аптечной резинкой, то плюшевая собака с полуоторванным кожаным носом, то большой настольный калькулятор, на дисплее которого светилось бессмысленно сложное, с четверками и тройками в периоде, число. Ведерников давно уже догадывался, что дядя Саня больше не на тренерской работе, и однажды догадка подтвердилась. Направляясь на очередной сеанс к страшенной, с плечищами как рыхлый сугроб массажистке, Ведерников из окна «мерседеса» увидел двух девчонок, прелестных, загорелых, в юбках не более наперстков: потряхивая блестящими локонами, посверкивая браслетками, девчонки ловили такси. Тотчас к панели пристал знакомый «москвич», девчонки, поегозив у водительского окна, полезли, подбирая медовые ноги и леденцовые сумочки, на пассажирское сиденье – и тут над полосой загорелся зеленый, поток тронулся, и Ведерников еще успел увидеть, как дядя Саня, закусив папиросу, вписывается в разворот.

На другой день бывший тренер позвонил, но Ведерников спрятался от зудящего мобильника в туалет. Он отвернул на полную краны, пустил в ванну резкую струю, так что смеситель чуть не встал на дыбы. Вода бурлила, ворчала, рычала, Ведерников зажимал мокрыми ладонями уши – и все равно слышал переключку телефонов, пронзительного мобильного и басовитого домашнего; через небольшое время к ним присоединилось курлыканье дверного звонка и глухие, кулаком и плашмя, удары в дверь. Так повторялось несколько раз, и Ведерников, весь забрызганный, вытаращенный на запотевший флакон рыжего шампуня, чувствовал себя затравленным. Ко всем нехорошим снам прибавился еще один: будто дядя Саня, желая во что бы то ни стало добыть из никчемного Ведерникова сокровище, медленно режет его, лежащего на каком-то очень узком и очень длинном столе, безобидным на вид, как плотва, столовым ножом. Из разреза на дрожащий живот Ведерникова течет густая кровь, черная на белом: между тем остервенелый дядя Саня запускает руку в желтой кухонной перчатке в живую дыру, перебирает, будто игрушки, округлые скользкие внутренности, отчего становится невозможно щекотно, – и вот нащупывает. Ведерников видит, как измазанная в красном желтая рука тянет из него слипшуюся сетку, сетка искрит сквозь влагу и слизь, на резиновой ладони дяди Сани лежит и капает центр, средоточие всего естества, а Ведерников тяжелеет, тяжелеет так, что стол под ним скрипит и гнется.

Просыпаться после таких сновидений было хуже, чем с самой жесткой похмелью. Дядя Саня сделался ненавистен – но однажды все кончилось. В дверь позвонили чужим, предельно кратким звонком, требовательная женщина из Мосэнерго пришла снимать показания счетчика, и когда Ведерников ей отворил, на рябенький от грязи кафель лестничной площадки упала ярко-белая, с острым, как лезвие, сгибом записка. «ДЕШЕВКА ТЫ ОЛЕГ», – значилось в записке вертикальными, будто из кольев, печатными буквами. Больше тренер не приходил.

iii

Имея опыт и дарование в бизнесе, мать прекрасно понимала: половина успеха – нанять правильных людей. Три-четыре раза в месяц Ведерникова навещала ее прислуга: интеллигентная, с лицом как прелая роза Екатерина Петровна, наводившая в квартире такую стерильность, что после нее хотелось ничего не трогать руками. А потом в жизни Ведерникова появилась Лида – домработница, нянька, медсестра и до странности хороший человек.

Мать прислала ее, когда собралась на отдых во Флориду – известила о своем отъезде и о найме Лиды кратким звонком, причем фоном для ее деловитого голоса служил протяжный небесный гул и приторное эхо аэропортовских объявлений. «А как ее по отчеству?» – выкрикнул в эту какофонию растерянный Ведерников, как раз пытавшийся устранить последствия крушения подноса с завтраком. «Не надо отчества, она молодая женщина, увидишь», – ответила мать с каким-то двусмысленным смешком и отключилась. Тут же, словно дождавшись очереди, раздался другой звонок, и задыхающийся, спадающий в шепот говорок попросил разрешения прийти.

Ведерников не смог бы определить возраст Лиды, если бы она при первой встрече, сильно стеснясь, не предъявила ему паспорт. По паспорту ей недавно сравнялось двадцать четыре, но она была по своей природе сорокалетняя женщина, крупная, костистая, с тяжелой нижней челюстью, безо всякой пощады придававшей ее большому лицу сходство с лошадиным седлом. У Лиды были густые и длинные, но совсем тонкие волосы цвета старого дерева и паутин, и когда она забирала их наверх для домашней работы, из блеклой волны, спадавшей по плотной спине, получался нитяной кукишок. Она убиралась почти бесшумно, даже свирепый пылесос, имевший обыкновение выть, колотиться хоботом в углах и со скорым стрекотом засасывать через трубу всякие нужные мелочи, стал у Лиды дрессированный и смирный, только урчал, как кот, выглаживая ковер. После Лидиной уборки квартира становилась как-то больше, просторней, из нее словно исчезали гнетущие обломки прежней жизни, и можно было начинать жизнь новую, в новом, освеженном воздухе, с ясными окнами и сияющей сантехникой, приобретающей сходство с футлярами для каких-то чудесных музыкальных инструментов. А тем временем на кухне отдыхали под чистыми полотенцами сочные, в золотой шелухе слоенные пироги, теплела и нежилась сметана в тарелке густого борща, а в духовке шкворчала и пухла целая мясная бомба – индейка с яблоками.

Ведерников поначалу опасался, что станет тяготиться Лидиным присутствием. Но Лида была легкий человек, во время работы глубоко думала о чем-то своем и не касалась ни мыслью, ни чувством уткнувшегося в компьютер калеки. Однако были у Лиды и такие обязанности, при выполнении которых не получалось избегать тесного общения. Она действительно была медсестра и дважды в день делала Ведерникову, с легким шлепком по ягодице, внутримышечный укол, который ощущался почти безболезненно, как холодный удар рыхлого снега. И, что еще важнее, она помогала калекке ухаживать за культами. Обыкновенно культы были спрятаны под одеялом, под пледом; оголенные, они становились страшны, будто реквизит ночного кошмара. Ведерников сам едва выдерживал зрелище обтянутых глянцевой кожей костей, что выпирали из усыхающей плоти, будто новорожденные слепые чудовища из дряблых коконов. А Лида с профессиональным бесстрашием обмывала культы радужной мыльной водицей, осторожно обсушивала полотенцем, а потом принималась за ежевечерний массаж, выходивший у нее глубоким, приятным и немного щекотным. Трудно было разгонять кровь по разорванным кругам, по руинам мускулатуры, и на белом, как большое яйцо, Лидином лбу проступал горячий бисер, а ее солено-сладкий женский запах, с примесью какой-то химии или аптеки, становился сильней.

Эти последние процедуры имели для Ведерникова крайне смутительные последствия. Он не мог скрыть своих естественных реакций – проще говоря, бугра в трусах. Он замечал, что Лида, быстро перемигивая, косится на заостренный холм, и щеки ее наливаются краской, будто рафинад, опущенный в сироп. А Ведерников, в свою очередь, старался не смотреть на ее тяжелую грудь, приходившую в круговое движение вместе с руками, на глубокую ложбину в вырезе рабочей футболки, где плоть плескалась, будто молоко. В уме у Ведерникова время от времени возникал постыдный вопрос: не платит ли мать этой своей покладистой сотруднице еще и за особого рода обслуживание, за удовлетворение тех потребностей калеки, которыми не станут заниматься обычные девчонки, его ровесницы? Для матери, с ее ледяным прагматизмом и простотой в связях, это был бы логичный бизнес-план.

* * *

У Лиды между тем имелся, как она его называла, друг. Звали его Аслан, был он выходец с Кавказа – из тех бедных кавказских парней, что приезжают в Москву работать в бизнесе у состоятельных родственников и временно берут себе больших и теплых русских женщин, не понимая ни одиночества их, ни бедного сердца, ни наивной мечты о любви. Сам Аслан был примерно полтора метра ростом, его рыжеватая борода начиналась от самых сощуренных глаз, но густела только на челюсти, образуя под нею темную ржавчину. Из-за шелковистой мохнатости щек, из-за большого бесформенного носа и детской челки до бровей лицо это создавало впечатление мягкости, даже некоторой расплывчатости характера. И Аслан действительно был безволен, неукоснительно слушался своих старших и следовал правилам, раз навсегда для него установленным. Потому Лида часто приходила на работу в замазанных, серых под пудрой синяках. Часто, если Лиде приходилось задержаться по хозяйству, Аслан заезжал за ней на старых, некогда белых «жигулях», относившихся к тому же типу полуживого советского транспорта, что и дяди-Санин мятый «москвич». Аслан парковался у самого подъезда и, не обращая никакого внимания на сигналившие местные машины, которым он перекрывал возможности маневра, покуривал, опершись о капот, скрестив толстенькие ноги в маленьких лаковых ботинках, похожих сверху на что-то маникюрное. Он никогда не помогал усталой Лиде, забравшей после работы мусор, дотащить до баков неудобный, каплющий мешок. Зато, когда мать разрешила домработнице забрать старую плазму (новая, размером в полстены, уже была подключена и показывала гремющий боевик), Аслан поднялся в квартиру сам, все аккуратно запаковал, смотал провода, церемонно пожелал Ведерникову долголетия, немножко скосив мало-подвижные глаза на то, что осталось от ног.

Однако, несмотря на принадлежность Лиды этому правильному Аслану, случилось то, что случилось. Однажды, в особенно печальный вечер, когда постель, где делался вечерний массаж, была ухабиста и разбита, будто проселочная дорога, Ведерников приобнял Лиду, чтобы она посадила его повыше в подушки. Вдруг он почувствовал, что Лида поддается, следует его руке, как вот бывает, когда ведешь в танце. Первый лихорадочный поцелуй пришелся в ухо, душное и горькое, царапнувшее губы рыболовным крючком сережки. Кровать накренилась, как лодка, принимая благую тяжесть женского тела. Дальше Ведерников плохо помнил. Лида что-то шептала, уговаривала не торопиться, а он захлебывался ее парной белизной, словно плыл по молочной реке, и был сперва растерян, жаден, жалок, но в какой-то момент вдруг сделался автономен и неуязвим, точно, как тогда, когда брал по асфальтовой дорожке роковой чемпионский разбег.

Так у них и повелось по вечерам. Начало было всегда как приглашение на танец: мужская строгая ладонь на сведенных женских лопатках, взгляд в глаза. Потом зардевшаяся Лида стягивала через голову рабочую футболку, и лицо ее, пройдя через тесноты жалкой ткани, делалось незнакомым, ярким, тонкие волосы налипали на его сияющую влагу, пушились и вились

в любовном жару. Лида была тяжела, каждое бедро – как большая античная амфора, груди в синих жилках, под ними – два розовых оттиска от грубых скоб бюстгальтера. Но Ведерников не ощущал неудобства от разницы в весе, как и от отсутствия ног: он и Лида были в любви будто два пловца, одинаково державшие головы над уровнем вод, и Лида опекала его, помогала ему оставаться вровень с нею, добираться, лишь немного барахтаясь, до финала, до твердого берега, на котором Ведерников отдыхал, будто мокрый, обсыхающий тюлень. Лида хлопотала над ним, но вдруг, сморенная, опускала растрепанную голову на неудобный угол тугой подушки – «на одну половинку минуточки!» – и начинала что-нибудь тихо говорить, глядя, точно в небо, в радужный от люстры потолок. Рассказывала про своих родителей, что спивались, в любви и согласии, в лесопромышленном северном поселке, где трава всегда колючая от опилок и горы щепы даже летом переложены в глубине черным пористым льдом. Рассказывала про старшую сестру, которой врачи назначили смерть от рака в несколько недель, а сестра все живет, уже четыре года носит в себе метастазы, как вот Чужого в фильме, повязывает лысую голову красным платком и до сих пор работает на почте. Грудной женский голос баюкал Ведерникова, держал его в полудреме, на весу, и получалось так, что Лида утешала калеку другими людьми: мол, со всеми все бывает, и все до самой смерти как-то живут.

Половинка минуточки превращалась в блаженную бездну неисчислимого времени, все часы в доме стучали и тикали вразнобой, постель полнилась тем роскошным животным теплом, которое вырабатывают только два тела, никогда одно, сколько ни сжимайся под одеялом, сколько ни дрожи, как работающий вхолостую чахлый мотор. Так продолжалось, пока снизу, из глубины двора, не доносился могучий, почти фабричный гудок «жигулей» и уменьшенный расстоянием гортанный мат. Это Аслан, приехавший за Лидой и оскорбленный ожиданием, сигнализировал о своих правах и метался вниз, жестикулируя на пафосный кавказский манер, разыгрывая вздетыми руками трагический спектакль.

* * *

На самом деле присутствие Аслана было для Ведерникова спасительно. Он не мог себе представить, что бы он стал делать с Лидой, будь она одна и свободна. Первая женщина в его разрушенной жизни, совсем не такая, какую он воображал, – вернее, не из тех длинноногих, одетых в обтяжку девчонок, что вместе составляли довольно однообразный, но обязательный для полноценного мужчины люксовый ассортимент.

Соседская Лариска, о которой Ведерников на время забыл, вдруг замелькала опять – и опять в красном: скульптурный рельеф белья под тонкой трикотажной тканью, не в тон намазанный рот, цыганский, пестрыми побрякушками увешанный браслет. Обыкновенно она на своем шестом этаже втискивалась в лифт, целиком занятый Ведерниковым, его широкой коляской, Лидой, прижатой к стене. Никогда Лариска не оставалась ждать, всегда со свойским смешком пролезала, поправляя бретельки, балансируя на высоченных, подпиравших ее, как жерди, каблуках – и однажды все-таки не устояла, плюхнулась всей своей надушенной тяжестью Ведерникову на культи. Ведерников, едва не задохнувшийся в приторном дыму отбеленных кудрей, успел увидеть в холодном лифтовом зеркале Ларискино лицо: оно было искажено отвращением и паникой, точно Лариска угодила с размаху в яму со скорпионами. Тут оказалось, что Ведерников все время надеялся – не то чтобы на самом деле, а будто существовала параллельная реальность, где Ведерников остался цел и они с Лариской, взятой просто как пример люксовой девчонки, гуляли в обнимку по раскаленно-белому тропическому пляжу, а ночью занимались любовью под пушечный гром прибоя и сладкое нытье какого-то оркестра. Теперь параллельная реальность исчезла, море утекло в голливудский фильм, откуда и было взято. Осталась только Лида, устроенная внутри точно так же, как все, в том числе люксовые, женщины.

Вопрос, платят ли ей дополнительно, был постыден и подловат. Несколько раз Ведерников порывался спросить, но его останавливала простодушная Лидина улыбка, в которой она открывала неровные зубы, подлеченные железом. Тогда Ведерников решил, что правильно будет платить самому. В один из приездов матери – загорелой, неоново-светлоглазой, с голыми руками грубой коричневой замши, уже усталой после очередного морского круиза – он пробубнил, что хочет иметь побольше карманных денег. Мать хмыкнула, дернула плечом – но, казалось, была скорей довольна таким проявлением жизни, хоть каких-то потребностей на фоне злостной апатии. С тех пор Ведерников каждый месяц стал получать от нее, плюс к деньгам на хозяйство, тысячу евро в белом плотном конверте с коронованным логотипом ее амбициозной фирмы.

Поначалу он собирался передавать конверты Лиде сразу, по мере их поступления – но все как-то не умел выбрать момента, все мешал то воющий пылесос, то трубящий под окнами Аслан. Белые конверты, эти аппетитные пироги с деньгами, стали скапливаться у Ведерникова в комод. Не то чтобы он их жалел, деньги были ему, по сути, ни к чему. Но по мере их собирания росла их сила, тот иррациональный магнетизм, которому подвластно любое человеческое существо. Ведерников денег не пересчитывал – но именно эта неопределенность массы, подобная неопределенности небесного тела в густых атмосферных слоях, делала сумму загадочно значительной – и загадка, безусловно, относилась к будущему. Такие деньги уже не получалось тратить помаленьку, притяжение целого не отпускало ни одной частицы, но стремилось втянуть все больше. У Ведерникова крепло ощущение, что значительность денег формирует где-то впереди такое же значительное событие, для которого они, все целиком, и предназначены. У него еще мелькала мысль о Лиде – глядя на ее почерневшие перстеньки, на нитку дешевого облупленного жемчуга, он воображал, как однажды преподнесет ей на Восьмое марта великолепное огнистое ожерелье в бархатной коробке. На деле он дарил букетик мелких, как земляника, по интернету заказанных роз, к которым мать, по настроению, прибавляла то платочек, то флакончик. Типичный подарок прислуге: дорогие, Лиде не по карману, барские мелочи, никак не меняющие жизнь.

* * *

Примерно в это время у Ведерникова сложились те отношения с Женечкой Караваевым, которые впоследствии превратились в его частный, не до конца исследованный ад. Первые года четыре после катастрофы мамаша Караваева регулярно вламывалась к нему в квартиру с вареной курицей в кастрюле и со спасенным ангелком, приносившим для предъявления расхристанный, весь в красных, неумело подчищенных преподавательских записях, словно расчесанный до крови школьный дневник. Четыре года – это было много, другой на месте мамаша Караваевой давно бы плюнул да занялся своими делами. Но глыбистая Наталья Федоровна оказалась удивительно упорна в преследовании того, что считала своим по праву: ее должны были простить, как положено, тем более что она заслуженный человек и ветеран труда.

Это тяжелое упорство было, похоже, частью ее довольно необычного умения оставаться в статике: на протяжении лет один и тот же набор коротких, мясного цвета морщин, одна и та же кривая посадка мутных очков, одна и та же прическа на восемнадцать кудрей, так что казалось, будто за все время с ее головы и правда не упал ни один волосок. Наталья Федоровна была как недвижимый валун в потоке времени, которое сносило всех, не обладавших такой, как у нее, густотой воли, плотностью всего существа. Между прочим, и у мальчишки уже тогда стало проявляться свойство, которое после Ведерников определил как необычайно высокий удельный вес. Он, например, почти не мог прыгать: если надо было, скажем, перескочить небольшую лужу, он долго примеривался тем и этим боком, чтобы затем с резким толчком воткнуться в самую грязь. Из-за своей аномальной плотности Женечка и рос как-то неправильно, неровно,

по частям: то вылезут на тонких руках почти мужские, голые кулаки, то обозначатся, распирая школьные форменные брючки, мускулистые ягодички. Ноги у него росли труднее всего остального и были оттого непропорционально короткие, с кривыми коленными узлами и большими ступнями, в которых угадывалось что-то землеройное: в десять лет сороковой размер.

Довольно долго Ведерников полагал, что мечтает избавиться от мамы Каравасовой и от ее докучливого чада. Так было, пока поток времени и перемен все-таки не одолел Наталью Федоровну. В один тяжелый, душный августовский день, когда набрякшая туча, погромыхивая и посвечивая, налезала вдали на ярко-оранжевый шпиль, добрая женщина у себя на кухне, закатывая банки, нагнулась за упавшим, странно блеснувшим ножом и вдруг ощутила в голове красный удар. Это красное, горячее, вместе с болботанием банок, грузно танцевавших в тазу с кипящей, мутной от их этикеток водой, да кишечное урчание грозы Наталья Федоровна ощущала много дней, пока лежала на железной больничной койке с перекошенным лицом и восемнадцатью кудрями, сбитыми в колтун.

Постепенно к ней вернулась способность кое-как шевелиться, кое-как таскать свое опухшее тело на широко расставленных ногах, из которых левая, ставшая легче и увертливее правой, могла внезапно подогнуться. Теперь мама Каравасова часами сидела перед подъездом, в жестяном холодном блеске облетающей листвы, закутанная в буро-зеленый клетчатый платок. Левый глаз ее был наполовину прикрыт мертвым пупырчатым веком, похожим на шкурку лягушки, левый угол рта свисал в рыхлые подбородки. Внешне безучастная, она сердилась больше, чем всегда, и не только на людей, но на весь окружающий мир – прежде бывший абстрактным и потому незамечаемым, а теперь вдруг ставший слишком реальным, слишком скорым и шумным. Мир кипел, как борщ. Мир изменил основные цвета: теперь во все примешивался красный. Сверкающий листопад отливал розовым маникюрным лаком, чугунные шары на воротах из двора напоминали свеклы, буквы в газете и на вывеске были будто капилляры, наполнены кровью, – а ночью мама Каравасова иногда просыпалась в тихой красно-черной комнате, в какой печатают фотографии. Так и не прощенная, не способная больше ходить и добиваться, она переполнялась гневом, которому не было выхода. Когда жгучий красный «мерседес» непокладистой соседки парковался, в сиянии и шелесте, среди неказистых дворовых авто, Наталье Федоровне казалось, будто этот адский цвет, смесь реальности и ее большого кровотока, рычит и вибрирует, и вот-вот вызовет в ее бедной больной голове новый удар.

Ненадолго из-за ее спины показался, до того совершенно незаметный, папаша Каравасов. Этот небольшой округлый мужичок напоминал пожилого купидона: припухшие синие глазки, легкие завитки вокруг лакированной лысинки, яркий румянец на щеках, состоявший, если приглядеться, из узора лиловых и розовых сосудов. Вдруг почуяв ветер свободы, Каравасов-старший ушел в неумелый запой, пару раз был замечен во дворе бегающим, будто шарик в наклоняемой туда-сюда игрушке, от синей лавки к рыжей песочнице, оттуда к железной кривой карусельке, своим вращением окончательно сбивавшей его систему координат. Очевидно, он пытался с какого-нибудь раза угодить в подъезд и слабо покрикивал, прижимая к груди нечто сияющее, бывшее, по всей вероятности, бутылкой водки. Однако Наталья Федоровна, даже подшибленная инсультом и говорившая вбок, словно складывая себе за щеку жеванные слова, быстро привела своего купидона в надлежащий вид. Теперь папаша Каравасов стал сосредоточен и ревностен, научился делать уборку, упираясь шваброй в захламленные тупики двух узких параллельных комнат, научился даже варить незамысловатый супчик и кормил супругу с ложечки, держа наготове, чтобы подхватывать потеки, кухонное полотенце. Он сделался снова как бы невидим, только бледная тень его, навьюченная более плотной тенью купленных продуктов, иногда проходила по крашеной стене подъезда, да ощущался от него порой очень слабый, почти воображаемый алкогольный запах, похожий скорее на аромат скошенной травы, чем на испарения вина.

Женечка Караваев временно исчез из поля зрения Ведерникова. Уверяя себя, что очень этому рад, Ведерников вдруг ощутил, что у него отняли чемпионский кубок. Женечка принадлежал ему, Ведерникову, и он осознал, что желает контролировать пацанчика, держать его возле себя на коротком поводке. Ведерников догадывался, что большинство людей живут всего лишь потому, что родились и не умерли, – но Женечка Караваев просто обязан был иметь смысл жизни. И не только иметь, а постоянно доказывать Ведерникову, что это именно смысл, а не херня. Если, конечно, Женечка Караваев хотел жить дальше. Эта последняя фраза выкатилась как-то автоматически в общем потоке внутреннего монолога. Если Женечка, этот невинный цветок, просто хочет жить, то ему придется работать, выкладываться, как Ведерников выкладывался на тренировках, до седьмого пота, до мыла, до лиловой радуги в глазах. Или... Что стояло за этим «или», Ведерников представлял смутно, но ему было утешительно лелеять зародыш власти, подобие жизненного плана, подобие возмездия за все, что он потерял.

Для дипломатических переговоров у него имелась только Лида. Ей он представил дело так, будто они вдвоем берут шефство над ребенком, у которого отец алкоголик, а мать инвалид. Надо было видеть, как просияли ее небольшие глаза – оказавшиеся сине-зелеными, будто павлинье перо. В тот вечер Лида была особенно нежна, купала и обтирала культи, точно это были младенцы, а после любви вдруг заговорила, что мечтает когда-нибудь родить ребеночка – нет, не сейчас, Аслан не хочет никаких детей, и нет условий, главное, нет своего жилья, но впереди еще несколько лет молодости, а если ничего не изменится, то она все равно родит, будь что будет, ведь каждой женщине нужно материнское счастье.

Ведерников, убогатворенный, уже почти задремавший, внезапно ощутил резкий приступ раздражения и еле удержался, чтобы не спихнуть Лиду с постели. До него дошло, что Лида теперь считает Женечку Караваева как бы их с Ведерниковым общим сыном – и тем покушается на обладание самим Ведерниковым в гораздо большей степени, чем он изначально был склонен допустить. Ведерников был рад услышать какофонию, производимую Асланом в глубине дождливой ночи, где симпатичный кавказец бурлил и квакал, будто тропическая лягушка в брачный период. Ведерников тогда подумал, что, в общем-то, Аслан хороший парень и надо бы что-нибудь ему подарить при случае: новый мобильник, например, или обложенный витиеватой чеканкой сувенирный кинжал.

* * *

Лида, между тем, стала регулярно звонить Караваевым, кланяясь всей их семье с телефонной трубкой у рдеющего уха, – и в один прекрасный зимний денек привела сопливое сокровище прямо с прогулки: в залубеневшем куртеце, с ледяной коростой на коленках лыжных штанов. Женечка глядел исподлобья, шмыгая набухшим розовым носиком, вид у него был подшибленный и нахальный. Ведерников не знал, о чем с ним говорить. На вопрос «Как в школе?» Женечка ответил глумливой усмешкой, украшением которой служила длинная сопелька с кровью. Выручила Лида, захлопотала возле монстрика, стянула с него мокрую одежду, натрясшую талой шелухи на чистый паркет, причем пацанчик специально кобенился, чтобы труднее было выпростать его из рукавов. Под куртецом на нем оказалась женская шерстяная кофта, сопревшая до пролысин и валяных ключев. Нежно воркуя, Лида увела пацанчика на кухню, к чаю с вареньем и полному блюду пухлых ватрушек: их пацанчик принялся убирать за обе щеки, дергая правой ногой в мохнатом, мокром как губка носке. Ведерников смотрел на них с тяжелым сердцем, понимая, что эти два существа, только и способные дать ему утешение, ничего не дадут.

И действительно: жизнь Женечки Караваева не только не имела смысла, но была на редкость, до абсурда бессмысленна. Учился он плохо, с тройки на двойку, на математике развлекался тем, что к выражению «икс, умноженное на игрек» старательно пририсовывал «и крат-

кое» и, лыбясь, совал тетрадь соседке по парте, щекастой и лобастой отличнице Журавлевой, за что получал деловитый удар стопкой учебников по гулкой голове. Женечка ненавидел математику с ее муравьиными тропами латиницы и цифири, заводившими его в темные чащобы, ненавидел, естественно, физкультуру, где кулем валился с брусьев и больно плюхался животом на дерматинового «козла», вместо того чтобы через него перескочить.

Однако у Женечки имелись, как он любил говорить, «научные интересы». Он подбирал на улице все кривые и ржавые железки, какие только попадались под ноги, чем уродливей, тем лучше; в комнате у него пылился громадный ящик этого добра, заботливо прикрытый слипшимися листками с рекламой китайской еды. Женечка мог часами возиться, прилаживая друг к другу останки разных механизмов, изъеденные коррозией и оттого похожие на ископаемые кости. Особую слабость он питал к потрохам будильников и заводных игрушек; иногда у него даже получалось привести в действие нагромождение шестеренок и пружин, туго шелкавшее и сыпавшее сором на застеленный газетой письменный стол – а то вдруг принимавшееся хромать к обрыву, к бездне, где и терпело крушение, рассыпаясь по полу на дребезжащие слои зубчатых колес.

Еще Женечку весьма интересовали птицы и насекомые. В карманах у него всегда болтался спичечный коробок, где сухо шебуршала и царапалась очередная поимка. Женечка собирал «коллекцию», представлявшую собой заляпанные листы картона, куда экспериментатор прикалывал заскорузлыми булавками, безо всякой системы и смысла, обтрепанных простеньких бабочек, отливавших окалиной крупных стрекоз и даже обыкновенных мух. Свежие жертвы долго шевелились, будто устраивались поудобнее, выделяли на булавки зеленые и бурые капли. От давних же экспонатов часто оставались гнилые фрагменты, ошметки, хитиновая скорлупка без головы, потертый горб с одним пересохшим крылом. Впрочем, Женечка о сохранности коллекции вовсе не заботился и ловил экспонаты наново, чтобы любоваться, точно на цветочек, на булавку, где сжималось, и разжималось, и подергивало брюшком очередное приобретение, обреченное впоследствии так же сгнить и развалиться на части.

Что касается птиц, то здесь неуклюжему Женечке доставались только перья, которые он поднимал с земли и таскал в портфеле, чтобы ими щекотать сливочную шею отличницы Журавлевой. Ради этих сборов и ради «научных наблюдений» Женечка прогуливался в недалекий, какими-то угрюмыми складами стиснутый парк, где ночевала половина городских ворон. Стаи черной сетью тянулись под низким небом, и на каждом дереве их набиралось столько, что округлые кроны кленов и лип напоминали муравейники. По непонятным причинам Женечке здесь нравилось, он с удовольствием слушал тысячеголосый грей с хриплыми зачатками человеческих слов, улыбался, когда горячие капли гуано, выбелившие землю под ветвями, липко прожигали рубашку. Иногда он так удачно кидал хлесткую палку, что дерево буквально выстреливало черным салютом; тогда урожай жирных отборных перьев бывал особенно обилен. А однажды Женечка приволок домой вороненка: был он морщинистый, голый, будто старушечий кулачок с артритными костяшками, иногда разевал мокрый кожистый клюв, открывая алое нутро до самого голодного желудка. Огорченная Лида свернула ему гнездо из старого шарфа, попыталась накормить распаренным овсом, но вороненок все равно к вечеру ослаб, дернулся и, словно в неизъяснимом удовольствии, затащил перламутровой пленкой сощуренный глаз. Наутро деловитый Женечка завернул холодненький трупик в газету и положил в карман, точно бутерброд, объявив, что сделает из него скелет.

* * *

Женечка, конечно, не понимал, но чуял, для чего он нужен дяде Олегу и почему он, через дуру тетю Лиду, то и дело зовет его в гости. Дома Женечка не имел над собой никакого контроля, вольным жильцом маневрировал между матерью, волокшейся по стенке и по висьям

щим пальто в туалет, и отцом, мреющим, как призрак, в кухонном чаду. Неожиданно контроль образовался там, где прежде надо было понарошку показывать дневник и улыбаться десять минут. Женечке это совершенно не понравилось, и вообще он не любил «терять время»: чтобы избежать потерь, носил на руке рубчатые электронные часы и еще одни, мутные, как медуза, с жеваным обрывком ремешка, в кармане штанов; кропотливо подкручивая головки и тыкая в кнопочки, добивался полной их синхронности, чтобы ни единая секунда зря не ускользнула. Зачем ему было время – неизвестно; а все-таки Женечка им дорожил, точно хотел за первую жизнь накопить на другую.

Те несколько часов, что он проводил у дяди Олега, он, по-видимому, считал пожертвованными, несмотря на ватрушки, да к тому же эти двое взрослых не ленились лезть в его дела и требовали показать дневник уже по-настоящему. После первых принудительных визитов он, собственно, собирался свинтить по-тихому и больше не показываться. Однако был момент, когда независимый Женечка, всеми мыслями уже пребывавший в своем ящике сокровищ, где его ждали очень интересные, похожие на кучу кривых опят, старинные гвозди, вдруг встретился взглядом с нехорошими глазами своего благодетеля. Инстинкты у Женечки были правильные и работали превосходно. В этих припухших сонных глазах плавали тусклые, но такие опасные огоньки, что Женечка счел за благо не нарываться и допустить опеку, по возможности извлекая из нее все приятности и выгоды, какие сулила глупость этих двух взрослых, совершенно Женечку не понимавших.

Однако, помимо неясной опасности, безногий содержал в себе еще нечто, вызывавшее у Женечки беспокойство, тот род жажды, которую он испытывал при виде богатой кучи металлолома или неуловимого, будто карточный фокус, перелета бабочки в сорняках. Это были не культы, тоже по-своему любопытные, но всегда скрытые одеялом либо подвернутыми штанами. Это было что-то внутри безногого – какая-то сложная начинка, игравшая и мерцавшая, даже когда безногий сидел неподвижно, свесив нижнюю губу наподобие гриба. Ведерников, в свою очередь, тоже ощущал, вместе с Женечиным сопротивлением, этот осторожный живодерский интерес. Он-то догадывался, что именно возбуждает пацанчика: сам плотный, точно набитый землей, Женечка очаровывался всем, что могло двигаться по воздуху, начиная от крылатых козляков и заканчивая, стало быть, Ведерниковым. Каким-то образом пацанчик чуял силовую паутину, которая, вместо того чтобы угаснуть в калеке, только крепла и бесилась, создавая до жути реальное ощущение живых, неотрезанных ног и подзуживая на них вскочить.

Ведерников точно знал, когда произошло оживление злополучной сетки: в тот самый момент, когда он впервые погрузился в пряную белизну женского тела и ощутил себя чемпионом. У него, значит, не получалось простого человеческого траха, трах имел опасные последствия: не зря после Лиды Ведерников болезненно натывался взглядом на стены и мебель – ему физически, как стакан воды, требовались свободные пятьдесят метров, на двадцать шесть ликующих в мышечной памяти беговых шагов. Лида, конечно, об этом знать не могла, она была слепа, и слепа до такой степени, что ее глаза павлиньей зелени и синевы казались украшениями, какой-то дешевой из стразов, назойливо блестящей. В Женечке она видела бедного сиротку, причем не конкретного, а сиротку вообще, конечно же, неспособного, в силу своей отвлеченности, спереть из ванной электробритву или изрезать кухонный стол, пока распаренная Лида, управляясь сразу с двумя чадящими сковородками, наливала блины. Ведерников был для Лиды вообще бедняга, вообще хороший человек и немножко муж – тоже обобщенный, скорее тело, чем личность. И тем не менее Лида оказалась необходимым звеном, чтобы у всех троих сложились отношения. Получилась псевдосемья, так же похожая на семью настоящую, как театральная декорация на лес или жилье; однако для сторонних зрителей троица выглядела весьма драматично, и можно было ждать продолжения спектакля.

* * *

Мать Ведерникова, разумеется, в спектакле не участвовала. Она категорически не одобряла присутствия Женечки в квартире: не говорила ни одного дурного слова, но так раздувала ноздри, что пацанчик выпускал из кулака недоеденный ожевок и, ерзнув, вильнув, исчезал за десять секунд. «Проветрите здесь», – ледяным тоном распоряжалась мать, когда за Женечкой хлопала входная дверь. «Мой дорогой, я не против того, чтобы ты развлекался, – говорила она Ведерникову, отослав бледную Лиду драить после гостя прихожую и унитаз. – Я всего лишь не хочу ничего нездорового. Этот ребенок отвратителен, он не может радовать сам по себе. И что тебе взбрело? Ты бы лучше побольше гулял, и не в коляске, а на своих двоих. Ты же спортсмен! А превращаешься в сидячую квашню. Кстати, Роман Петрович ждет нас послезавтра».

Роман Петрович был известный и очень недешевый мастер-протезист. Огромный, заросший дремучим, каким-то мамонтовым волосом, он говорил тонким сдавленным голоском, несообразным его обширным телесам. Казалось, не только речевой аппарат, но и все другие органы были в нем стиснуты жировыми и мясными глыбами, в том числе и сердце; оттого Роман Петрович был всегда раздражен, драл, запуская в нее пятерню, свою доисторическую бородину, над которой щечки глянцевице багровели, будто пасхальные яйца. Этот неприятный, несуразный на вид человек был единственным, кто мог безнаказанно кричать, а верней, пищать на мать, не терпевшую повышенных тонов ни от кого, кому она платила деньги. Но тут мать была сама кротость. Всегда любившая помариновать персонал в ожидании своего появления, здесь она предпочитала провести полчаса в длинной, как вагон метро, ровно ничем не украшенной приемной, нежели опоздать на пять минут.

Ездить к Роману Петровичу приходилось часто. В душе у матери, по-видимому, жила тайная надежда, что большое количество искусственных ног, суммируясь, вместе дадут пару настоящих. У Ведерникова имелось уже двенадцать скорбных комплектов, частично заполнявших пустоту материнского гардероба. Были протезы простые, в виде палок с приделанными к ним желто-розовыми, отвратительно условными ступнями: в них Ведерников выглядел будто оббитая до арматуры парковая статуя. Были протезы «косметичные», обтянутые полимерной, всегда немного липкой искусственной кожей: эти безволосые ноги напоминали женские, оттого Ведерников их страшно стеснялся и почти не носил. Регулярно появлялись, в новых и новейших модификациях, компьютерные ноги с гидравлическими коленными суставами, точно отнятые от роботов и приделанные к живому человеку. Было странно управлять самим собой при помощи пульта; так и хотелось направить сигнал не вниз, на электронику и гидравлику, а непосредственно в висок, чтобы стереть ненужные мысли, от которых закипают мозги. На простых протезах-палках Ведерников передвигался на манер циркуля, словно измеряя нечто твердое, реальное и несомненно существующее, тогда как на компьютерных, особенно если задать неправильный режим, земля юлила, ускользала, и по лестницам Ведерников поднимался с неприятным чувством, будто всякий раз ставит карбоновую ступню на тугую, увертливый мяч.

Ведерников и правда не любил передвигаться на протезах: немного завидуя ампутантам, что надергивают протезы легко, точно сапоги, сам он не мог отделаться от нежелания быть частично искусственным. Лиде всегда стоило огромного труда вытащить его на «ходячую» прогулку. При роковом отсутствии спасительного и такого удобного кресла Ведерников в родных дворах чувствовал себя заброшенным за тридевять земель. Опираясь правой рукой на мягкую Лиду, а левой на упрямую твердую трость, Ведерников занимал всю ширину дворовой асфальтовой дорожки, и всякий раз, когда кто-нибудь его обгонял, сердце на мгновение сжималось, точно обогнавший мог столкнуть его в пропасть. Собственный рост, стараниями Романа Петровича соответствующий тому, из которого Ведерников ушел в полубытие, теперь

казался чрезмерно велик. Здесь, наверху, было слишком ветрено, в лицо летели то острые снежинки, то сырые тряпичные листья, и само пространство казалось дырявым, рваным, опасным своей открытостью на все четыре стороны. А то вдруг обострялось ощущение живых, неотрезанных ног, обутых в мучительно тесную обувь и тонких, как спички. Между тем еще предстояло вернуться к далекому подъезду, влезть по трем горбатым ступеням на крыльцо, а затем еще по восьми взобраться на площадку, где можно наконец вызвать комфортабельный лифт.

У Романа Петровича, занимавшего целый этаж граненого, отливавшего ядовитой синькой бизнес-центра, имелся оборудованный зал, где платежеспособных ампутантов гоняли, будто дрессированных крыс по лабиринту. Здесь были выстроены разного рода изуверские лестницы. У одной ступени были круты и узки, точно книжные полки; другая, напротив, состояла из широких, на полтора человеческих шага, полированных плит, какие бывают на некрасивых и пустых, советской постройки площадях и ведут к какому-нибудь большеному гранитному солдату или трепещущему в увядших цветочных стогах Вечному огню. Изверг-протезист воспроизвел у себя в тренировочном зале все неприятности, какие подстерегают ампутанта в нелюбезной городской среде, – а кое-что было буквально перенесено с улиц, например, еще одна интересная лестница истертого почти до дыр мягкого мрамора, чьи ступени были кривы, будто морщины на старческом лбу. Имелся даже винтовой фрагмент, решетчатый и гулкий, завивавшийся вокруг чугунного, точно смолой облитого столба. Здесь всегда дежурил помощник Романа Петровича, меланхоличный полный мужчина, чьи прилизанные желтые волосы выглядели как масло, намазанное на булку; должно быть, его задача была спасать ампутантов, застрявших в железных тенетах, но мужчина был отрешен, глаза его, казалось, внимательнейшим образом считывали информацию с внутренней стороны квадратных очков и не реагировали ни на какие внешние раздражители.

Лестницы соединялись в неровный овал, в единый мучительный путь, по которому можно было двигаться по часовой и против часовой, но не получалось сойти с дистанции, пока не достигнешь, обливаясь холодным потом, самого дна витиеватого ада. Ампутанты ковыляли по кругу, все разные, точно хромые и кривые римские цифры, пустившиеся по сюрреалистическому циферблату, лишенному стрелок. А в запасе у коварного Романа Петровича были еще плоскости растресканного асфальта с мочалами настоящей травы, плюс наклонные пандусы, плюс длинные поддоны с гравием, чей скрежет отдавался в зубах, точно приходилось, по мере продвижения, пережевывать всю эту пыльную гранитную массу. «Водички, водички полейте, чтоб скользко было! – покрикивал довольный Роман Петрович пронзительным от счастья голосом. – Пусть полюбят дождичек, черти!» Тотчас кто-нибудь из obsługi волок, семена и поплескивая, полное ведро и широко окатывал ад; Роман Петрович с живейшим интересом наблюдал, как подопытные, делая судорожные мелкие движения, преодолевают просиявшие препятствия.

Если бы изверг мог, он бы воспроизвел у себя в аду и пупырчатые наледи, что возникают на асфальте после мокрого снега, и промерзшие до белой щепы хрупкие лужи, и тот самый зловредный сорт городского ветра, что бросается из-за угла, как пес, и норовит завалить навзничь. Протезист явно чувствовал в себе нечто от языческого бога, от Зевса-громовержца. Интересно, что и другие признавали в нем скрытую стихийную мощь, иначе с чего бы мать стала так перед ним заискивать? А она заискивала и даже смущалась, стоя перед извергом и его массивным, словно из шоколада отлитым столом, тогда как рядом было кресло, в которое она могла, в своей псевдоподростковой голенастой манере, развинченно плюхнуться.

Ведерников только удивлялся. Вероятно, женщин, подобных матери, раньше просто не существовало ни в одном поколении бабок и прабабок. Это был совершенно новый тип, выпавший из естественного хода вещей. Матери недавно сравнялось сорок пять (полуюбилей, чинный ресторан, именинный торт с роем желтых огоньков, из которых один, цепкий, как оса, никак не хотел гаснуть) – но никто не смог бы на взгляд определить ее биологический возраст.

При помощи косметических салонов мать превращалась в биоробота, одетого подростком; это не было возвращение молодости – лицо ее, до странности твердое и лишенное теней, совсем не напоминало студенческие снимки, так что человек, не видевший ее с тех самых нежных лет, которые она теперь имитировала, узнал бы ее с меньшей вероятностью, чем если бы она дала годам брать свое. Джинсы, короткие курточки, кеды – все это смотрелось круто, но на самом деле в ее двадцать с небольшим были круглые воротнички и платья в цветочек, а еще Ведерников помнил тяжелое пальто на вате, с большой растрепанной лисой, похожей на жухлую траву, и чопорные ботики на кожаных пуговках, всегда сырые, стоявшие отдельно на серой газетке.

Существо, в которое превращалась мать, изначально не предусматривалось природой – кто же мог теперь догадаться, что у существа на уме? Искусственного в ней было теперь едва ли не больше, чем в самом Ведерникове на протезах. Может, потому она так трепетала перед наладчиком высокотехнологичных конечностей? В том ресторане протезист тоже присутствовал – сидел, развываясь, по левую руку от холодно сиявшей именинницы, свитер корзиной, борода метлой. А однажды под обширным белым халатом Ведерников углядел на изверге полосатый костюм вроде отцовского, с каким-то красненьким значком на лацкане, похожим на леденец. Мелькнувшая догадка заставила его похолодеть и криво усмехнуться. С одной стороны, он не мог представить, что у матери, превратившей себя в неестественное существо, могут оставаться какие-то естественные чувства. С другой стороны, тугие плечистые бойфренды разом куда-то делись. У Ведерникова было мало возможностей для наблюдений: мать он видел редко и так и не побывал в ее личной квартире, остававшейся для него крошечным белым пятнышком на где-то северо-западе Москвы. Раз он подсмотрел, как злокозненный творец искусственных стихий с галантной ужимкой подает зарозовевшей матери ее китайчатый, в золотых драконах, пуховик, а она блаженно всплывает в атласные рукава и нежится в объятиях шелка, стеганого пуха, корявых лап живодера, не сразу разомкнувшихся.

iv

Впрочем, отношения матери с людьми мало задевали Ведерникова: что бы там ни происходило, оно казалось ему таким же отвлеченным, как и его собственные с ней отношения, которые нельзя было определить ни единым словом, обычно применяемым к обоюдным чувствам матери и сына.

А вот Женечка Караваев требовал заботы и по-своему выводил, вытаскивал Ведерникова в люди. Вдруг оказалось, что он уже перешел из шестого в седьмой, что лоб его обметан ядреными прыщами, а под носом пробивается растительность, которую пацанчик то и дело трет нечистым указательным. Оказалось, между прочим, что на ногах его кроссовки Ведерникова: стали как раз, Лида потихоньку отдала и побоялась сказать. Пацанчик, стало быть, теперь буквально ходил по земле вместо Ведерникова, передвигался своей осторожной походкой валкого истукана, оставлял на рыжей грязи, которую не мог перескочить, его, Ведерникова, рельефные следы.

Женечкин дневник в первой четверти сделался особенно ужасен. Новый, но уже истрепанный, с землистым пятном на обложке и махрами выдранных страниц, он весь был красен от учительских сердитых записей – и все время повторялось каллиграфическое требование классного руководителя матери и отцу прийти в школу. Обращение оставалось без ответа: мамаша и папаша Караваевы стоически ничего не подписывали, а может, и не могли подписывать в силу своей фантомной природы. Папаша Караваев стушевался окончательно, его можно было различать только поздними вечерами по круговому вращению теней, когда фонари перенимали друг у друга его сутулую бесплотность, да по тряскому кустику белого меха на черном поводке – то была улыбчивая собачонка размером с ушанку, которую папаша Караваев где-то раздобыл для развлечения супруги, да сам с ней и остался. Наталья Федоровна по-прежнему проводила по многу часов на зеленой скамье перед подъездом, широко расставив холмообразные ноги в обрезанных валенках и глядя в точку, где ничего не было. В ней настолько уже отсутствовали движения мысли и жизни, что мелкие пичуги без опаски садились ей на голову, толсто и глухо замотанную в теплые платки, и вертелись, покачивая деревянными палочками хвостов, поклеывая шерсть.

«Надо, значит, нам идти, ведь правильно, да?» – просительно проговорила Лида после того, как Женечка, оставив по себе на полу в прихожей характерное, словно там убивали мелкое животное, грязное пятно, наконец свалил. Ведерникову идея Лиды совершенно не понравилась. Однако из-за Женечкиных проблем в школе он испытывал беспокойство, будто забыл в гостях не особо нужную куртку, но не помнит точно, что там у нее в карманах. «Ладно, ты права, пожалуй, придется сходить», – буркнул он, отворачиваясь от просиявшей Лиды. Ему опять-таки не нравилось, что всякий раз, добившись от Ведерникова чего-нибудь для Женечки, Лида старалась вознаградить доброго калеку особо трудоемким лакомством, для которого требовалось часами что-нибудь чистить, молоть и взбивать, и специальными долгими поцелуями, от которых все немело вокруг раздавленного рта и возникало ощущение намордника. «Не смей меня дрессировать!» – мысленно обращался Ведерников к радостно хлопочущей Лиде, но вслух этих слов не произносил.

Женечка учился в той же школе, куда ходил Ведерников, пока не перевелся в школу олимпийского резерва. Крыша школы, крытая бурым железом и украшенная величественной руиной печной трубы, была все эти годы видна из трех окон квартиры, особенно отчетливо из спальни Ведерникова. Он машинально наблюдал зимой, как убеляется и расчерчивается в косую тетрадную линейку покатаая кровля, как весной намерзают на карнизах ледяные грубые глыбы и как блестит на штукатурной стене, возле полуразвалившегося в своих ухватах водостока, трогательная ледяная сопелька, будто у второклассника. Но никогда ему не приходила

мысль совершить паломничество в доспортивное детство, он оттуда, собственно, почти ничего не помнил. И теперь было странно сознавать, что до школы все так же можно пройти за десять минут: наискось через тихий, вечно сырой переулок, где лужи достигают черноты и густоты чертежной туши, мимо слободки железных гаражей, мимо булочной с землистыми караваемы на деревянных поддонах, потом вдоль школьного забора, в котором три или четыре крашенные плахи, для удобства опаздывающих на урок, всегда были выломаны и держались на гвоздях.

Десять минут превратились в сорок, потому что Лида упростила Ведерникова «для солидности» надеть протезы. Булочная оказалась закрыта, на месте ее сиял полированным крыльечком и завлекательной вывеской новенький стоматологический кабинет: в чистое окно были видны румяно-седая макушка пациента, уложенного в кресло, и плотный, туго склоненный врач с круглым зеркальцем во лбу. По пути Ведерников крепко споткнулся о мокрую ветку, погрузившую липкие листья в густую, точно маслом политую глину, и потерпел бы фатальное крушение, если бы Лида, ловко поднырнув, его не подхватила.

Школьный фасад из желтовато-кремового стал теперь блеклым зеленым – но все те же проступали сквозь штукатурку родимые пятна, и все те же беленые чаши с колтунами настурций выселись по краям небольшой, состоявшей из бетонных пешек балюстрады, и все так же была заколочена левая из двух парадных дверей: величавая окаменелость в грубой коре шелущащейся краски, с замазанными стеклами, на которых татуировками проступали слои некогда процарапанных надписей. Ведерников не ожидал, что все это так его взволнует.

Внутри, в темноватом купольном вестибюле, было еще живо округлое маленькое эхо, катавшееся, будто яблоко, в желтоватой, глиняной на вид миске потолка. Все так же был грязноват внушительный коридор, где по стенам лоснились неразборчивые портреты корифеев разных наук: самый различимый, с запавшими безумными глазами и бородой в виде двух чернотурых лисих хвостов, был, кажется, Владимир Даль. Ведерников поймал себя на том, что улыбается неизвестно чему. Он узнавал горбатые темноты узкой раздевалки, чуял горький пыльный запах блеклых портьер на высоких окнах – вероятно, таких же горячих, как тогда, когда Ведерников испытывал старинную, медную, вонявшую бензином зажигалку, и вдруг от синеватого пуха на фитиле сухая ткань вспыхнула с могучим шумом, словно взлетела жар-птица.

Все четыре школьных этажа, сквозные благодаря широкой, пасмурно освещенной парадной лестнице, были объаты той особой, закладывающей уши тишиной, какая бывает во время уроков. Но вот тишина сгустилась, напряглась, лопнула, грянул, как скорый поезд, железный громкий звонок. Тотчас хлынул шум, замелькали, будто мячики, светлые и темные макушки, закрипели на своих осях никелированные вешалки в озарившейся раздевалке, кто-то пригожий, толстый, румяный повалился с разбегу на пол, сразу сверху на него уселись двое, оскаленные, точно обезьянки. Ведерникову стало неприятно от такого количества детей – способных совершенно бесконтрольно бегать, затевать потные, пыльные драки, выскакивать внезапно под колеса. Однако во всем этом гомоне и тесной возне он не почуял ни одного зловещего уплотнения, каким был весь целиком Женечка Караваев. «Он диавол», – вдруг прозвучал в ушах жаркий шепот полузабытого торговца водкой, возникли перед глазами белые воцеленные залысины и судорожное, с обкусанными ногтями троеперстие, кладущее крест.

Классным руководителем Женечки оказался не кто иной, как Ван-Ваныч. Ведерников не видел его, казалось, целую жизнь и теперь с трудом узнал. Лет Ван-Ванычу было, может, под пятьдесят, но смотрелся он стариком. Весь он как-то уменьшился, сделался легок и сутул, будто перемоченный дождями и высохший до черных жилок осенний лист; на хрупком его, как будто полом черепе почти совсем не осталось волос, из-за ушей по дряблой шее пролегли морщины, похожие на жабы. Новой была и беспомощная добрая улыбка, которой он озарился, вставая навстречу Ведерникову из-за тяжело загруженного каким-то физическим опытом учительского стола.

«Это ты, Олег! – воскликнул Ван-Ваныч, прикладываясь своей цыплячьей грудью к ведерниковскому наглухо застегнутому пальто. – Как же я рад тебя видеть! Да, тебе надо сесть, сюда, сюда», – с этими словами Ван-Ваныч придвинул гостью свой обтянутый дерматином, жестоко порезанный стул, одновременно выуживая для себя и для Лиды две пыльные табуретки. Ведерников грузно рухнул, на столе дернули стрелками приборы в эбонитовых чепчиках.

«Я тебя как раз ждал сегодня, – словоохотливо продолжил Ван-Ваныч. – Девушка твоя мне звонила. Вы и есть Лида, верно я говорю? Ну, замечательно, прекрасно. То есть не совсем все замечательно, конечно. Да, так вот. Вы ведь по поводу Жени Караваева? Родителям безразлично, как я убедился. Они никак не влияют, да. Собственно, по всем правилам мне с ними надо обсудить. Но глухо, совершенно глухо, я и в дневник писал, и домой звонил, и как об стенку горох. Вот ведь люди! А ты, Олег, то есть вы вдвоем, значит, занимаетесь ребенком? Удивительно, просто удивительно...»

И старенький Ван-Ваныч, знакомо поднимая куцые брови и собирая горкой тонкие бескровные морщины, стал рассказывать во всех подробностях о Женечкиных обстоятельствах. Учился Женечка едва-едва посредственно. Он в последнее время готовил дома уроки письменно (на этих словах тихая Лида, часами сидевшая с дергающимся, дрыгающим ногами Женечкой над его расхристанными тетрадками, зарделась от удовольствия), но что касается теоретического материала... Нет, Караваев неглуп, он, скорее, умен, но умом своеобразным, дикорастущим, где соединяется крайняя практичность с крайней фантастикой. Две трети учеников просто зубрят материал, и в этом ничего плохого нет; Караваев же воспринимает всякое преподаваемое знание как ограничение его персональной свободы. Не далее как позавчера, вызванный к доске, почему-то уже по локти испачканный мелом, Караваев заявил, что тупой закон Гука есть его, Гука, личная проблема, а он, Караваев, сам разберется и с упругостью, и с деформацией, потому что собственноручно ставит дома опыты. Ведерников догадался, что имелись в виду те странные паутины из резинок и ниток, на которые Женечка, затаив дыхание и лишь слегка всхрапывая, осторожно навешивал разные металлические грузы, от чугунных гирек до швейных иголок, добываясь при помощи каких-то ему одному внятных равновесий максимального отягощения натянутых струн. Однако идеал не давался самозабвенному экспериментатору: буквально в полувсхрапе от него, в полуперышке веса дикое монисто все-таки рвалось, брыцало, безнадежно запутывалось – и даже Лида рассердилась, обнаружив среди хаоса ниток, вилок, шестеренок свои маникюрные щипцы.

Ведерников давно понимал, что Женечкин мозг представляет собой полное блескущих сокровищ сорочье гнездо. Ван-Ваныч подтвердил его представление о том, что с Женечкой невозможно договориться. Все законы физики, химии и математики Женечка воспринимал как двойное покушение на собственное «я»: во-первых, всю эту хрень заставляли учить, что уже являлось злостным насилием над личностью, а во-вторых, жесткие, негнущиеся формулы отсекали все разнообразие связей между свойствами вещей. Одной из аберраций Женечкиного сознания была неограниченная власть: заполучив предмет (купив, украв, подобрав на помойке), Женечка полагал себя и хозяином свойств этого предмета. Так, шестеренки из разных разъятых механизмов были обязаны сцепляться и крутиться, кофемолке надлежало дробить гвозди, ржавым амбарным замкам со спекшимися внутренностями следовало открываться и закрываться при помощи изогнутой скрепки. Предметы, понятно, сопротивлялись. Пару раз Ведерникову довелось пронаблюдать приступы Женечкиного гнева: экспериментатор рычал, рвал в косые лоскуты подвернувшуюся под руку, ценную списанным сочинением тетрадь, топал короткими страшными ножищами, отчего на расстеленных газетах у него подпрыгивали ни в чем не повинные детальки и стоном отзывалась холодная батарея. Но видел Ведерников и другое: странную очарованность на полувздохе, предчувствие совершенства. В такие редкостные мгновения, буквально остановленные Женечкиной верой в податливость

мира, глаза пацанчика делались туманны, мягкие розовые руки витали медленнее, медленнее – и вот почти замирали перед последним крохотным движением, точно готовились поймать и боялись спугнуть дивное радужное насекомое. Но как только движение происходило – расколдованные железяки грубо набирали вес, буквально вываливались из небытия, и все рвалось, рушилось, раскатывалось по полу с рокотом и стрекотом, Женечка в пароксизме злости топал громадной ногой.

Женечкины школьные проблемы не ограничивались учебой. Класс, на две трети состоявший из не очень красивых и не очень счастливых девчонок, Караваева подтравливал – как подтравливают всех странных, слабых, противненьких, плохо одетых и никем на свете не любимых. Это последнее чинный, отменно круглоголовый седьмой «Б» улавливал безошибочно – и Лидино сердечное сострадание ничего не меняло, потому что переживала она не за Женечку, а за умозрительного сироту.

Вместе с тем Женечка доставлял седьмому «Б» немало развлечений. Он регулярно срывал уроки своими «научными экспериментами»: то выпускал, привязав на нитки и держа пучком эти дрожащие вожжи, десяток жуков, из которых едва половина надрывала моторчики на своих принудительных орбитах, другие же влачили по парте сырые привязи и собственные внутренности; а то на перемене, проникнув в класс без ведома дежурных, пристраивал к приготовленному опыту какое-нибудь горбатенькое устройство, в результате чего искомое электричество не искрило, а шипело и корежилось, и жидкость в нагретой колбе, вместо того чтобы мирно переменить цвет, вскипала едкими, едва проходившими в стеклянное горло пузырями и заливала учительский стол.

Никто не понимал, почему возникают такие эффекты: налицо были нарушения преподаваемых законов, и это, кажется, оскорбляло педагогический коллектив больше, чем нарушение дисциплины. Разумеется, признаки бессильной ярости преподавателей вызывали у седьмого «Б» тихую эйфорию. «Давай, Каравай!» – подбадривали Женечку дылды с галерки. На это Женечка солидно кланялся, выражая всей физиономией и удовольствие от публичности, и некоторое презрение к веселящейся публике. Женечку наказывали – но как-то так всегда получалось, что вместе с ним под горячую руку попадали еще двое-трое из числа киснувших от смеха или под шумок передирающих, шибко двигая локтем, соседскую контрольную. Женечке было наплевать и на очередную запись в дневнике, и на горделивую двойку в журнале; другие же пострадавшие, которым было что терять, со злобой воспринимали урон. В результате Женечку били, и, случалось, жестоко.

* * *

Несмотря на общую благопристойность и инертность, в седьмом «Б» имелся, как во всяком классе, главный хулиган. Это был Колесников Дима, который требовал, чтобы его называли Дима Александрович.

Дважды второгодник, Дима Александрович был старше и крупнее других пацанов, носил пухлые куртки и широченные штаны, нагруженные парой-тройкой килограммов нужных вещей и спадающие мешками на ярко-белые наглые кроссовки. Шевелюра Димы Александровича, пострадавшая от неудачно выполненных дредов, напоминала банный веник. Дима Александрович, как и Женечка, не учился вообще, на уроках слушал рэп, самоуглубленно кивая, похожий, в уздечке наушников, на дремлющую лошадь. С одноклассниками Дима Александрович почти не знался, банда его состояла из пришлых, таких же балахонистых, но более мелких, коротконогих, будто плюшевые медвежата, но на деле очень опасных ребятишек. Банда обычно поджидала Диму Александровича на первом этаже возле мужского туалета, куда лениво втягивалась при появлении усатой, сверкающей очками и бусами завучихи Зои Петровны, при появлении иных угроз женского пола – а хлипкий словесник, единственный, кроме Ван-Ваныча,

мужчина в педагогическом коллективе, таковым не считался и сам предпочитал держаться подальше от вертепа, откуда сытно и приторно тянуло анашой.

Дима Александрович сам ни разу не попал из-за Женечкиных опытов: он вообще был для учителей невидимка, слепое пятно на последней парте третьего ряда, на фоне крашеной, жирно блестящей стены. Однако Дима Александрович считал себя чем-то вроде смотрящего и не уклонялся от выполнения общественного долга. На большой перемене он со вздохом сгребал ослабленного Женечку за шкуру и волок его, шаркавшего на полусогнутых, но каким-то образом сохранявшего важность, на первый этаж, к своим. Там он валил ухмылявшуюся добычу под ноги медвежатам и со словами: «Пацаны, не убивать», – лениво запаливал рыхлый косячок. На туалетном слякотном полу Женечка сноровисто принимал защитную позу, ему одному свойственную: прятал голову куда-то под мышку и сворачивался так, что на виду оставались только круглая спина да громадные окаменелые подошвы с налипшими бумажками. Балахонистые пританцовывали и попинывали жертву, пытались ее взбодрить, но выбивая лишь немного пыли да утиное кряканье, имевшее отдаленное сходство с человеческим смехом. Должно быть, Женечкин удельный вес создавал у них ощущение, будто они пытаются играть в футбол мешком с булыжниками. Бдительный Ван-Ваныч, неоднократно разгонявший отчаянными криками эти безобразные танцульки, утверждал, что хулиганы удирали прихрамывая. В свою очередь, Женечка особых повреждений не получал: когда Ван-Ваныч, причитая, помогал вяло шевелившейся жертве подняться на ноги, он видел на лице у Женечки удерживающуюся, хотя и несколько подшибленную ухмылку, которой кровавая размазня под носом придавала оттенок клоунады. Иногда Ван-Ванычу удавалось оттащить Женечку в медпункт, где к его набрякшему носу прикладывали лед и осматривали синяки, напоминавшие не травмы, но фиалки и розы. Но чаще Женечка, отряхнувшись, хозяйственно проверив содержимое своего потертого, но качественного, какой-то министерской солидности портфеля, ссылаясь на «неотложные дела» и уходил, держась несколько скособоченно, с белым хвостом рубахи, не вполне заправленной в штаны.

«Ну вот как прикажете с этим разбираться? Женя Караваев совершенно закрыт, какая-то каменная крепость, а не мальчик, – сетовал Ван-Ваныч не то в первый, не то в один из последующих визитов Ведерникова в школу, когда пили чай в учительской, все вместе отражаясь и сливаясь щеками в тусклых боках электрического самовара. – Если бы он кому пожаловался, так нет. Будто даже доволен, как все к нему относятся. При том – прирожденный провокатор. Может, даже гениальный по-своему. Ходят по классу эсэмэски, из-за которых лучшие подружки ссорятся насмерть... И какой-то у него посреднический бизнес при списывании сочинений, контрольных...»

Честно говоря, Ведерников не видел большой проблемы в том, что Женечку немножко бьют. Он бы и сам это сделал, если бы мог. Но Лида – Лида просто не находила себе места, то и дело присаживалась рыдать во время уборки. Ведерников впервые видел Лидины слезы – и это при ее-то жизни, где была и пьющая мать с пузырящейся брагой вместо мозгов, и сестра с ее бессмертными метастазами, и четыре года полуразрушенной общаги, куда от автобусной остановки надо было полчаса добираться между двумя непроглядными стенами прутьяной и бетонной жути: там каждый год убивали кого-то, находили измазанный труп. Была, наконец, та двусмысленность между двумя мужчинами, которая любую бы угнетала, только не Лиду, понимавшую все это как дело житейское. Так женщина ее простого тяглого склада могла совершенно запросто терпеть свою невозможную реальность – и лить обильные слезы над сентиментальной книжонкой. Женечка и был книжонка, идиотский комикс, в котором имелся и нарисованный Ведерников – вернее, супергерой с преувеличенной мускулатурой, означавший Ведерникова. «Ты, значит, и правда такой хороший человек? – озадаченно спрашивал Ван-Ваныч, прикасаясь к плечу Ведерникова бледными, заметно дрожащими пальцами. – Удивительно, был вроде бы обычный мальчик... Прыгал, нарушал дисциплину... Но спас ребенка,

покалечился сам, а теперь фактически заменил этому ребенку родных – кто бы мог подумать? Святые поступки, Олег, святые поступки. Для меня большая честь...» При этих словах Ведерникова охватывало такое пронзительное чувство нереальности, что внезапный гром школьного звонка представлялся ему звуком будильника, который вот-вот вырвет блуждающий ум из хватки кошмара.

Однако сон наяву продолжался и длился. «Сделай же что-нибудь! – кричала Ведерникову зареванная Лида, похожая, с опухшим лицом и глазами-щелочками, на старую якутку. – Они изуечат ребенка, эти бандюки! Если ничего не сделаешь, я нажалуюсь Аслану, он этого Диму зарежет!» Ведерников, подавленный этим скандальным криком после стольких лет тихого голоса и мягкой тишины, не знал, что сказать.

* * *

Как удивительна бывает логика событий: вроде бы одно вытекает из другого, а в результате делаешь то, чего делать вовсе не собирался. При осторожном, косвенном посредничестве Ван-Ваныча и пары-тройки малопримечательных персонажей из седьмого «Б», друживших и с теми, и с этими, была назначена встреча – прямо во дворе у Ведерникова, для удобства калеки (и для скорейшей помощи в случае, например, удара по голове). Лида во двор не пошла, только проводила героя, шагавшего на протезах враскачку, как боцман, до лифта: была почему-то сильно, приторно надушена, одета в новое желтое шерстяное платье, словно для театра.

Ведерников не очень верил, что Дима Александрович придет: было слишком холодно, вместо нежного первого снега сыпала жесткая крупа, ярко белевшая на земле, а в небе роившаяся острыми черными точками. Скамейка возле безлюдной детской площадки была просто ледяная, содержимое песочницы смерзлось в гранит. Тем не менее Дима Александрович явился, когда Ведерников уже совсем скрючился в своем новеньком, слобно хрустевшем пуховике. На малолетнем бандите была, поверх широченных спортивных фланелей, одна стеклянистая ветровка, и чувствовал он себя превосходно. «Ты, что ли, дяденька, вписываешься за Каравая?» – произнес он гнусаво, перекатывая во рту какой-то жвачный комок. «Не “дяденька” и не “ты”, а Олег Вениаминович», – ответил Ведерников, стараясь не трястись, и тут подумал, что Лида наверняка стоит у окна, смотрит. И из других окон, занавешенных чем-то серым, похожим на старые, байковые от старости паутины, тоже, вероятно, смотрели люди. Вместо того чтобы ощутить поддержку и относительную безопасность, Ведерников почувствовал себя точно на театральной сцене, причем он не знал ни текста, ни смысла своей героической роли. «Вы не дурите, не смейте у меня дурить», – произнес он голосом вдвое тоньше того, каким разговаривал обычно. На это Дима Александрович только ухмыльнулся.

Но, кажется, малолетний бандит не был настроен агрессивно. Его большие, навывкате, бычьи глаза выражали скорей любопытство. «А че, правда, что у тебя, у вас то есть, ноги ненастоящие?» – спросил он простодушно, присаживаясь около Ведерникова на корточки. «Правда», – ответил Ведерников, сообразив, что перед ним всего лишь ребенок. «Да ладно! Посмотреть дай?» – Дима Александрович бесцеремонно ткнул толстым указательным в колено Ведерникова, как раз целое. Ведерников со вздохом закатал правую штанину. Минуты три Дима Александрович осматривал и щупал изящный, блестящий как серебряное яблоко коленный шарнир, плавные обводы пластика, процессор, штангу. «Круто! – восхитился он, с трудом вставая в рост. – Дорого?» Ведерников кивнул. «Ну, я бы такое приобрел, было бы бабло! – Дима Александрович, возбужденно приплясывая, сделал пару боксерских выпадов. – Как терминатор! А че, правда изобрели протезы, прямо соединенные с мозгом? Я бы еще чип вживил под череп. С высокоскоростным трафиком! Ноги бы отрезал на хрен, руки тоже. Одним ударом стену бы пробивал!»

Ведерников, насупившись, дергал вниз правую штанину. Кулаки Димы Александровича, которые он держал в стойке у самых зубов, точно собирался их съесть, были красные, живые, полнокровные. «А голову ты бы тоже запросто себе отрезал? – спросил Ведерников раздраженно. – И это?» – Ведерников с усмешкой указал глазами на низкую складку фланелевых штанов, где скрывались желтоватые пятна органического происхождения. «Это не-е! Девушки любят натуральное и погорячее, – самодовольно заявил Дима Александрович и плюхнулся рядом с Ведерниковым на обледенелую скамью. – Так ты, то есть вы, чего хотели перетереть? Насчет Каравая? Каравай, он неуважаемый вообще-то. Лично я его ни разу не херачил. Так, пацаны разминаются...»

Ведерников глубоко вздохнул, покосился наверх, пытаясь в разбегающихся рядах холодного, с общим белым отблеском стекла найти свое окно, – и не нашел. Нехотя он потащил из утробно нагретого кармана то, что давно там мусолил, так что водяные знаки, казалось, перешли в капиллярные узоры на влажных пальцах. Эту вкусную, широкую купюру в двести евро он, закрываясь спиной от нервной Лиды, все бившей рыльцем пылесоса в какой-то угол, утром отделил от толстенькой пачки, спрятанной, вместе с другими такими же приятными толстушками, в комод под бельем. Это был болезненный поступок: Ведерников словно вырвал страницу из непочатого календаря, относившегося к какому-то далекому будущему году, – и тем нарушил ход вещей, травмировал все деньги, заботливо запеленутые в ветхую простынку. Но что он мог еще? Молча он протянул купюру конспиративно покосившемуся Диме Александровичу, надеясь, что Лида не такая зоркая, чтобы сверху разглядеть манипуляцию, подмену мужского поступка презренным эквивалентом. На счастье, стоило Диме Александровичу погладить деньги округлым жестом фокусника, и они моментально исчезли из глаз, так что и близкий наблюдатель ничего бы не рассмотрел.

После этого Дима Александрович расслабился, развалился еще вольготнее, отчего делалось заметно, что мальчик полноват и что со временем молочно-нежный второй подбородок превратится в тугой воротник матерого жира, если юнец не сядет на диету. «С вами приятно иметь дело, – изрек он фразу из какого-то криминального фильма. – А только, если по-честному, я бы на вашем месте забил на Каравая. Чего вам уroda воспитывать? Он маньяк, реально. Ему самое место в морге со жмурами, типа санитаря, или закроют его, вот и будет вам весь ваш подвиг. Ладно, окей, пацаны его больше не тронут, а вам от чистого сердца мой бесплатный совет». С этими словами Дима Александрович всем колыхнувшимся телом оттолкнул себя от скамьи и пошел в сторону арки, на ходу застегивая трепещущий под ветром пузырь ветровки. Продрогший Ведерников тоже кое-как поднялся, преодолевая крен и кружение снега, голых ветвей.

«Ну что, как? – встретила его Лида, растрепанная, в одном тапке. – Ты им приказал, пригрозил?!» Должно быть, она, наблюдая из ложи, обрыдалась над пьесой, глаза ее, набрякшие, в размазанной косметике, напоминали чудовищные фиалки. «Все, больше к Жене не будут приставать», – устало произнес Ведерников, а сам подумал: что же я такое творю?

* * *

Сожаление. Это едкое чувство было постоянным фоном существования Ведерникова, всякую скромную радость калекки оно прожигало насквозь. Случались и обострения – спровоцированные, например, внезапной переменой мягкого зимнего солнца на интенсивное весеннее, делающее все вокруг линялым, будто пролежавший зиму под сугробом конфетный фантик. Или приступ накатывал при виде цветочного магазина с чем-то похоронным в роскоши букетов; или вдруг несущийся на скорости автомобиль обдавал Ведерникова тем самым жарким бензиновым ветерком, которым дышал налезающий «хаммер». Сразу день текущий и

реальный отступал на задний план, а на первый план выходил тот самый, майский, до конца не прожитый.

Тот самый день, если сложить все время мысленного прохождения его рокового маршрута, длился суммарно уже года два или больше. Если приступ случался в светлое время суток, реальное солнце немного разбавляло густоту той майской теплоты, как вода разбавляет мед; в ночные часы мед становился вязким, и Ведерников, мысленно оказавшись среди нежной мути цветущих яблонь, просто не мог сдвинуться с места.

Сколько этот день таил спасительных лазеек! Ведерников не уставал их исследовать. Он мог бы, например, не намахивать пешком от самого троллейбуса, а пересечь в метро, куда едва не спустился, но поддался очарованию новенькой зелени, мелких древесных листков, очень подробно вырезанных словно бы из яркой, чуть шершавой гофрированной бумаги. Если бы не эта эфемерная, готовая уже назавтра огрубеть зеленая дымка, Ведерников на момент опасности был бы уже дома, в спасительных стенах. Или, наоборот, он мог ну совершенно запросто задержаться по дороге, встретить кого-нибудь, потрепаться минут пятнадцать, а потом через плечо случайного зеваки глазеть со всеми на мутно-розовую звезду в лобовом стекле джипа, на разинувшего рот бородача, которого вяжет милиция. Однако все человеческие лица, проплывшие тогда навстречу, были чужие, условно мужские и условно женские; подмога, если и двигалась вразвалку по какой-нибудь из боковых дорожек, безнадежно запаздывала. А ведь могло быть еще проще: что стоило дяде Сане вообще отменить тренировку! Он тогда мучился зубами, нянчил в ладони распухшую щеку, мычал ужасные песни – так записался бы к стоматологу!

Все так сошлось в тот бесконечный, до сих пор не завершившийся день, что задним числом казалось нарочно подстроенным. Что интересно: двадцатое мая наступало ежегодно. День рождения Ведерникова приходился на девятнадцатое ноября: эти две даты были почти идеально симметричны относительно центра годового вращения, относительно солнца. С днем рождения все было более-менее понятно: обязательный ресторан, мать в чем-нибудь светлом, брючном, с золотым, обсахаренным бриллиантами калачом на ключицах, ее болтливые гости, все друг другу знакомые, а Ведерникову неизвестные, подарок в коробке с кукольным бантом, который никогда не позволялось выбрать самому. Потом год, скрипя, переваливая через горбатую зиму, описывал полукруг. Ведерников чувствовал, что надо что-то делать с антиподом дня рождения, но никак не мог приноровиться. Однажды двадцатого мая пошел крупный снег, хлопья холодного мыла текли по окну, а потом на прогулке было очень мокро, сирени в полной листве и с ярко-белым грузом образовали полутемные низкие арки, и прямо перед Ведерниковым рухнула, ахнула плашмя сверкающая ветка, обдав его ледяными брызгами. В другой раз была сухая гроза, дневная мгла гудела, водопроводный кран кусался электричеством, пыль во дворе вела себя как живая, протягивалась волной, вздымалась, роилась, подхватывала и, повертев, бросала бледный негодный мусор.

Но, как правило, двадцатого мая стояла прекрасная погода, со всеми банальностями свежего весеннего цветения, и люди в этот день как-то инстинктивно избегали Ведерникова; даже Лида, едва ли знавшая о дате, отпрашивалась домой пораньше. Пару раз Ведерникову удалось напиться в одиночку, преодолевая взрывы алкоголя в голове: он был как солдат, идущий в атаку, совершенно уже глухой среди вырастающих тут и там колоссальных земляных кустов, под клубами черного дыма, застилающего белое облако. После этих болезненных опытов вкус коньяка, шампанского, портвейна, чего угодно другого стал для него совершенно одинаковым: железным и желудочным. Еще он разбил пузатый, как мячик, заварочный чайник, вываливший ему на колени полупереваренную бурую массу, – и наутро Лида с мучительным, изводящим душу звуком заметала в совок царапучие черепки.

Не может быть, чтобы это произошло в действительности, произошло бесповоротно. Оригинал двадцатого мая содержал в себе столько иных возможностей, что Ведерникову часто

мерещилось, будто на самом деле не было никакой катастрофы. Будто параллельно его фальшивой, кое-как проживаемой жизни в подлинной реальности идет жизнь настоящая, несломанная. Впервые это наваждение накатило на Ведерникова из-за Лариски. Как он был молод тогда, какой он был глупец! Подлинная реальность представлялась ему в виде пошлейшей туристической рекламы, состоявшей из крашеного моря, лакированной красоти и запотевшего напитка. Фальшь этой заемной грезы косвенно подтверждалась тем, во что всего за несколько лет превратилась Лариска. Ее и теперь при желании можно было счесть красивой женщиной, и больше всего такого желания было у нее самой. Располневшая, как и следовало ожидать, с замазанным косметикой лиловым воспалением между криво нарисованных бровей, она катала по двору широкую коляску на два тугих, с кефирными личиками, свертка и время от времени доставала что-то из сумки – зеркальце, судя по солнечному зайчику на большой, уже разрушаемой временем щеке. Как любовно она смотрела на себя, держа себя перед собой, будто райское яблоко, – а то присаживалась на скамью, тетешкая себя у себя на коленях, в то время как белые свертки кряхтели и куксились. Под конец прогулки появлялся муж, долговязый, с коричневыми усами и скошенным подбородком. Обычно муж торжественно въезжал во двор на лилипутской, с чем-то жабьим в общем очерке, иномарке, делал круг почета в поисках парковки, а потом супруги дружно возносили коляску со свертками и каплющими колесами на ступени крыльца. Перед тем как скрыться в кафельном полумраке подъезда, эти двое на виду двора обменивались долгим, с участием чутких усов, поцелуем, что вызывало отвращение к самому слову «счастье». Неужели Ведерников мог оказаться вот на его месте – на месте добросовестного семьянина в измятом полушерстяном костюме и при дохлом галстуке, честно любящего супругу, но не достигающего и десятой части ее большой любви к самой себе?

* * *

И все-таки Ведерников не мог отрешиться от иллюзии, что где-то – может быть, близко, на расстоянии руки, протыкающей радужную складку пространства, – есть другой он, целый и настоящий. Зде́шняя инвалидная жизнь его была, за исключением отсутствующих ног, практически идеальной – но в том-то и крылась фальшь, тут-то и прятался подвох! Безногий бывший спортсмен Олег Ведерников ни в чем не нуждался. Академию он не закончил – зачем? Иногда, под настроение, пробовал работать на дому. В первый раз это был *call*-центр интернет-магазина, торгующего мобильниками, флэшками и прочей дребеденью. В дребедени Ведерников ничего не понимал, в призовых баллах для «любимых покупателей» совершенно запутался, и единственное удовольствие, которое он получил от всей истории, – финальный разговор по скайпу с крупной, превосходной лепки головой рассерженного менеджера, посаженной, однако, на узенькие плечи, как валун на земляную горку; будучи послан весьма далеко, этот менеджер так удивился, что Ведерникову хватило веселья на целую неделю.

В другой раз он отозвался на объявление «молодой перспективной команды» по продвижению «продуктов для здоровья» и даже как бы заработал несколько тысяч, продавая впечатлительным клиенткам омолаживающие пилюли размером от литиевой батарейки до макового зерна. Однако у перспективных скоро возникли проблемы с лицензией, все контактные номера стали *out of service*, и никаких денег Ведерников не получил. Потом на месте пилюль были сковородки с чудодейственным, на вид прямо-таки перламутровым покрытием; потом энергосберегающие лампочки, мощные, но сосущие электричества не больше комара; потом наборы самозатачивающихся ножей, к которым добавлялись совершенно бесплатные брошюрки с подробной инструкцией. Все эти продукты, отданные для распространения инвалидам, имели некие волшебные, малоправдоподобные свойства, а совокупность бизнесов так явственно и пряно пахла аферой, что только большой оптимист либо совершенно отчаявшийся человек мог поверить в стабильность дохода и перспективы продвижения в компании. Ведер-

ников знал, сведя несколько случайных, чисто телефонных знакомств, что некоторые его товарищи по несчастью, говорливые и не берущие в голову ничего серьезнее футбольного матча или любовного романа, все-таки зарабатывают на эфемерах, запросто перескакивая из проекта в проект, воруя клиентские базы и искренне веруя в цены ниже рынка. Что до Ведерникова, то ему для равновесия требовалось минимум восемь часов молчания в сутки, при этом сон не шел в зачет. К тому же плотненький сверток денег в комоде торговому энтузиазму никак не способствовал.

В общем, жизнь инвалида Ведерникова была – никакая. Иногда ему до боли в висках мерещилось, будто можно позвонить себе настоящему, если в рассыпанной повсюду бытовой цифири угадать телефонный номер и межпространственный код. Цифры стояли на магазинных чеках, на автомобильных номерах, на квитанции из обувного ремонта, которую Лида не оторвала от подошвы своего кривого сапожка да так и ходила, мелькая белым, ветхим, разъеденным водой и каменными зернами; цифры роились, будто кусачая мошकारа, цифры трудились, создавая в сознании Ведерникова свои муравейники, рыжие рыхлые холмы размером с египетские пирамиды. Но не было номера, не существовало аппарата, с которого можно было бы сделать звонок.

Ведерников пытался вообразить себя по ту сторону катастрофы, установить с собой телепатическую связь. Кто он в настоящей судьбе? Европейский чемпион? Нет, холодно. Возможно, бронзовый призер. Женат? Скорее всего, да, уже лет пять или шесть. Вполне вероятны дети. А вот этого не надо! Ведерников признавался себе, что ненавидит детей. Хаотичные существа, живые бомбы, способные взорвать человеческую судьбу так же запросто, как сожрать мороженое. Мелкие террористы и тираны, с неотвязной бесконечностью дурно пахнущих физиологических нужд и с целой горой фантастических потребностей, начиная от рюкзака с дракончиками, кончая новейшей моделью телефона. Сегодня все сказки и киномифы пресуществляются в вещи. Лет, пожалуй, двадцать назад игрушки по большей части дублировали реальность – хотя было что-то страшненькое в этом мире миниатюрных копий, превосходящих числом оригиналы, как превосходит млекопитающих почти не замечаемый, но суммарно весящий тонны и тонны мир насекомых. Теперь же товар для детей воплощает в кричащих и грубых формах все то, что плавает, клубится, взрывается у них в головах. Дети – враждебная стихия. Всякий раз, приходя в школу (учителя уже напрямую вызывали Ведерникова, игнорируя Женечкиных биологических родителей), он больше всего боялся попасть под первый удар перемены. Ведерников ненавидел брести по пояс в малышне – и, словно в ответ на страхи, он то и дело получал то увесисто-мягкий удар рюкзаком, то круглый пушечный удар головой в живот, а однажды двое рыжих, будто луковицы, близнецов, гонявшихся друг за другом с бессмысленным, ввиду их одинаковости, упорством, все-таки сшибли Ведерникова на скользкий кафель, отчего левый протез треснул.

* * *

Ведерников все меньше понимал, как же это мать решилась произвести его на свет. Наверное, была очень молоденькая, начитавшаяся книжек, такая неуклюжая в своих крепдешинах, в этих нелепых оборках, загибавшихся наизнанку от ветра. Плохо знала жизнь – и оттого впала в помрачение, когда не видно будущего, есть только золотая иллюзия да щекотные толчки в спящем, как груша, животе. Ведерников тогда был плодом – буквально плодом ее воображения: ей, должно быть, виделся мягонький ясноглазый карапуз, обязательный элемент женского счастья и полноты бытия.

Надо ли говорить, что реальный ребенок оказался совершенно не похож на ангела с этикетки детского питания: Ведерников, как ему рассказывали, родился мелкий, кисленький, с головой в длинных темных волосиках, точно облепленной водорослями, и пупок его, неудачно

завязанный акушеркой, напоминал пельмень. Он совсем не доставил матери идиллических минут. Едва научившись ползать, он, похожий на большую байковую лягушку, все норовил добраться до обрыва мира – до края дивана в шершавый желтый цветочек – и прыгнуть. Пару раз ему это удалось, вызывали «скорую», но врачей и их манипуляции Ведерников совершенно не помнил – в отличие от дивного, волшебного покачивания бездны, многократно видоизмененной сновидениями, но все-таки имеющей цвет их старого, сизого с рыжим ковра.

Ведерников уже согласился с тем, что никогда не узнает, куда и почему исчез отец, – да это было и неважно. Важно было другое. Ведерников считал, что родителей можно в полном смысле любить только в самом глубоком детстве; потом взрослеющий, атакуемый гормонами организм занимается исключительно собой – и лишь когда закончатся все прыщавые, грубые метаморфозы, человек способен снова увидеть своих стариков и, не любя, пожалеть. Но это спасительное, хотя и суррогатное чувство принимало, в случае Ведерникова, извращенную форму.

Рассмотрим аргументы. Ведерников был не слепой, он понимал, что мать не особенно счастлива. Неприлично моложавая, она боролась с морщинами всеми средствами, доступными за деньги, – но они, морщины, все равно были написаны у нее на лице словно бы симпатическими чернилами и проступали, если мать сердилась, или слишком уставала, или просто оказывалась вне поля воздействия зеркал. Бизнес ее был точно не сахар. Возник момент, когда, по многим признакам, дела у матери серьезно ухудшились: некий чиновник районной управы, маленький, седенький, весь в старческих пятнах, напоминающих подпалины на мятой ветхой бумаге, учинил захваты лакомых торговых площадей, и откупаться от него пришлось на крайнем пределе возможностей, обращаясь в его же банк и влезая в кредит. В эти месяцы мать почти не могла спокойно сидеть, тут же вскакивала и начинала нервно вышагивать, – с чашкой кофе, с тарелкой мюсли, которые между тем пожирала с жадностью, или с мобильником, бросавшим мертвенный синий отсвет на впалую щеку, на дрожащую прядку волос. Голос ее сделался резким и звучал громко, даже если она говорила тихо, – и потом этот зудящий тембр остался, точно что-то у нее внутри разладилось, дребезжало и рвалось. Но и в это кризисное время она не только давала, как всегда, на хозяйство, но исправно выкладывала конверты – позволявшие ей уходить от сына и пользоваться свободой.

Ведерников понимал, что мать ни за что не прекратит ежемесячных выплат, даже если сама останется потом без копейки. Весь ее взъерошенный, напыженный облик кричал: не трогайте меня! Ведерников и не трогал, боже упаси. Не задавал никаких вопросов, не говорил никаких дешевых, не обеспеченных реальной помощью слов сочувствия. Да мать и не приняла бы помощи, это было не из ее жизни, это пробило бы брешь в ее помятой, но тем жестче сверкающей броне. Сделавшись уязвимой, она убегала, пряталась. Некоторое время ее, судя по всему, не было в России. Потом она вернулась, бледная, опухшая, в новом шерстяном зеленом костюме, нехорошо на ней сидевшем. Надо было, наверное, ее приобнять; надо было взять ее за руку, бессильно висевшую под тяжестью венозной крови и потупленных колец. Ведерников не сделал ни того, ни другого. И через небольшое время как-то все наладилось; мать накупила ярких, в обтяжку, джинсов и слаксов, пересела на джип, где на пассажирском сиденье можно было регулярно наблюдать нагромождение телес и сумрак бороды все того же Романа Петровича – затеявшего, между прочим, авантюрные контракты на спортивные протезы и смотревшего на Ведерникова с прицельным хозяйским прищуром.

Вот и выходило так, что Ведерников жалел родную мать только за одно: за собственное свое неуместное рождение. Он теперь не мог не быть – по крайней мере, не мог достичь небытия, не сделавшись укором и не доставив хлопот. Лучшее, что он был в силах сделать для матери, – это оставаться не более чем статьей расходов. Полная нейтральность, стерильность разговоров, регулярные отчеты по телефону, совершенно такие же, как вчера и позавчера. Демонстрация надежности дальнего ящика, куда Ведерников был раз и навсегда определен. И

никакого с ее стороны участия в жизни Женечки Караваева – от которого по-хорошему следовало бы избавиться каким-нибудь спокойным, цивилизованным способом.

* * *

Но избавиться не получилось. К своему замешательству, Ведерников обнаружил, что многие вокруг вполне серьезно считают его святым.

Особенно озадачивало такое отношение со стороны людей, знавших Ведерникова до катастрофы. Например – учительница химии, химоза, в свое время хладнокровно ставившая Ведерникову тройки и носившая тогда свой тугой, на все железные пуговицы застегнутый корпус необыкновенно прямо, по-адмиральски. Теперь это была оплывшая, осевшая старуха, чьи растресканные лаковые туфли были надрезаны, дабы вмещать раздутые ступни, а пуговицы платья, испачканного мелом, висели на нитках. Но какой надеждой, каким благоговением светилося ее бородавчатое доброе лицо при виде Ведерникова! Как теплы были ее пирожки с рыхлыми начинками, которые она припасала, в кастрюльке и тряпочке, к его приходу в учительскую! То же самое – географичка, в отличие от химозы почти не постаревшая, все такая же маленькая, узенькая, с огромным, мужского размера, горбатым носом и шапкой седого дыма, в которой еще держалась смоляная копоть. В педагогическом коллективе составилсЯ своего рода фан-клуб Ведерникова, куда входили и учительницы помоложе, среди них одна красавица с удивительно высокой бархатистой шеей и в круглых очках, преподавательница пения в младших классах.

Фан-клубом руководил Ван-Ваныч, оживший и даже как-то помолодевший. Теперь он устраивал в каждый приход Ведерникова большие чаепития в учительской, где на сдвинутых столах появлялись и колючие, с грядки, огурчики, и пегие, пышные пироги, и свежий сахар в надколотой сахарнице. Чашки были сборные, три пузатые с розами, одна полупрозрачная, в трещинах, словно склеенная из яичной скорлупы, пять или шесть совсем простые, в полустершийся горох. Женщины, сидевшие за столом, тихо сияли, их глаза и очки словно отражали один на всех, теплившийся в центре огонек. Ведерников догадывался, что нужен им не сам по себе, но как живое доказательство существования добра – быть может, единственное в их обыкновенных, в общем-то, судьбах, убитых бедностью, неблагодарностью, попранными амбициями. Разговоры шли о повседневном, вроде ремонта в школьном спортзале или кулинарных рецептов, но искоса бросаемые на Ведерникова благоговейные взгляды свидетельствовали о тайной значительности происходящего.

По молчаливому соглашению, о Ведерникове говорили не напрямую, но косвенно. Учительницы постарше любили вспоминать шалости Ведерникова: как он складывал и запускал удивительно ладные, остроносые и сбалансированные бумажные самолетики, делавшие по классу, прежде чем во что-нибудь уткнуться, множество плавных кругов, как он поджег штору и заодно в этом огне сгорел портрет педагога Ушинского, как однажды наполнил воздушный шарик водой и спустил этот зыбкий тонкокожий сосуд с четвертого этажа, так что водяная плюха резко оросила брюки некто-сти случившегося пожарного инспектора. Половины этих историй Ведерников не помнил. Он подозревал, что дамы приписывают ему чужие школьные подвиги. Однако фан-клуб буквально млел, снова и снова мысленно перелетая расстояние между «Был обычный мальчик, ничто не предвещало» и нынешним ведерниковским подвигом. Это, возможно, давало им надежду, что и в сегодняшней обыденности зреют зародыши будущих чудес.

В многократных пересказах истории избавлялись от случайных, маловыразительных деталей, обретали стройность канона, где реальности и вымысла было сорок на шестьдесят. Вероятно, именно это соотношение устанавливалось во всех успешных мифах о детстве великих людей. «Знаешь, были раньше такие книжки во всех программах внеклассного чтения,

на тему “Когда был Ленин маленький”, – смущенно оправдывался Ван-Ваныч, оставшись с Ведерниковым наедине. – Такие сказки, довольно милые, если отвлечься от политики. Теперь про тебя присочиняют в той же где-то стилистике. Не надо сердиться, опровергать. Будь великодушен. Я понимаю, что от человека, который делает добро, хотят еще большего. Но ты держись, пожалуйста, ты теперь служитель и заложник Добра».

Насчет служителя Ведерников сильно сомневался, а про заложника – то была сущая правда. Фан-клуб держал его крепко и не собирался отпускать. Если бы он попытался дезертировать, на него бы начали охоту. Ну, не все, наверное, но географичка точно, такой у нее был темперамент, а еще обидчивая историчка, чьи большие, размером с куриные крутые яйца, желтоватые глаза то и дело безо всякой причины наполнялись слезами, что выглядело устрашающе, но еще ужаснее было выражение этих мутных глаз, когда они оставались сухими. Что, собственно, могли они все сделать Ведерникову? Неизвестно что – в этом-то и состояла опасность. Очень опасно было проверять, на что способна обычная тетка, если у нее отобрать лучшую иллюзию. Но даже если бы никаких реальных действий не последовало, Ведерников, отказавшись быть святым, нанес бы сам себе парализующий удар. С таким чувством вины не выживают, особенно инвалиды. Хорошо Ван-Ванычу говорить: ему-то совсем не сложно оставаться «довольно милым», его дело сторона.

Как ни удивительно, иллюзия ведерниковской «святости» овладела не только учителями. Ведерников морально готовился к тому, что Диме Александровичу придется платить и платить. Надолго ли, в самом деле, хватит двухсот евро молодому, полному желаний самцу: на неделю, на две? Самая мысль о том, что придется снова брать из запаса, разорять гнездо будущего, до поры укрытое в тугих деревянных недрах комода, вызывала тошноту. Однако Дима Александрович не требовал платы. Проходили месяцы, а матереющий бандит, на чьей широкой роже сохли такие ссадины, точно он брился рубанком, держался равноудаленно и от Ведерникова, и от Женечки Караваева – буквально купавшегося в самодовольстве и совершенно безнаказанно заходившего по естественной надобности именно в тот туалет, где насупленные медвежата, закрываясь круглыми спинами, тянули один на всех скромный косячок.

И вот однажды Дима Александрович подкараулил Ведерникова, поддерживаемого Лидой, на грязном, сверкающем талыми водами школьном дворе. Первое, что увидел Ведерников – и Лида, судя по захлебнувшемуся вздоху, – был яркий и крепкий кулак Димы Александровича, медленно вынутый из кармана обвислых штанов. Однако в кулаке оказалось неожиданное: деньги. Несколько сложенных вместе, спрессованных бумажек плюс монеты, горячие, будто испекшиеся в печке, были осторожно перемещены в удивленную ладонь Ведерникова, один новенький рубль упал и заблестел в мелком трепетном ручье. «Я, это, в общем, принес вернуть, – пробормотал пунцовый Дима Александрович, перетаптываясь забрызганными белыми кроссовками в сияющей жиже. – Я не тупой, все понял. Фильм один смотрел, там имперцы хотели уничтожить город, а в городе праведник жил, так что хрен у них что вышло». С этими словами Дима Александрович круто развернулся и пошагал прочь, повеселевший и освобожденный. «Что это за деньги?» – подозрительно спросила Лида. Ведерников не ответил. Под руку, ковыляя как четырехногий табурет, они вступили из яркого света в плотную тень забора, точно спустились с улицы в сырой подвал. Там ледяные и снежные горбы с гривками бархатной грязи лежали ничком в прошлогодней траве, валялся совершенно целый, без пробки, стеклянный графин, весь заросший грубой прозеленью, с темным настоем внутри. «Ты слишком добрый, вот что я скажу», – заявила Лида и крепче взялась за Ведерникова.

Дома оказалось, что рублей, принесенных Димой Александровичем, немного не хватает на двести евро по текущему курсу, и Ведерников отчего-то подумал, что бандит ходил в церковь ставить свечку. А буквально через неделю его остановила в коридоре крупная старшеклассница, некрасивая грудастая девушка с удивительно мощной русой косой, в чудовищных охвостях которой, каждое с веник, она смущенно путалась пальцами. «Скажите, вы право-

славный?» – спросила она Ведерникова с робкой лучистой надеждой. «Не знаю», – честно ответил Ведерников, и его много часов преследовали ее вопросительная, с розовыми деснами улыбка, ее ясные серые глаза.

V

Случилось еще одно. Мамаша Караваева уже довольно давно не показывалась во дворе, место ее на скамейке заняла чья-то старая сонная кошка с коровьими черно-белыми пятнами на лысоватой шкуре. Наталья Федоровна стала совсем тяжелой: не только правая нога, но и вся правая половина тела огрузнели так, будто туда, вправо, сместились вся кровь и все органы, а слева болталась пустая оболочка, дряблый пузырь. С чувством, что от нее, живой, осталась одна половина, мамаша Караваева теперь перемещалась медленно, по пути хватаясь за все, что придется. Она боялась вытаскивать себя из безопасной спальни, где мутный воздух многократно прошел через ее сырые легкие и стал органической частью ее самой, а пол был мягко устлан ее теряющей цвета пыльной одеждой. Наталье Федоровне мерещилось, будто за косяками, за углами красноватого коридора кто-то затаился, хочет ее убить.

Мамаша Караваева была почти уверена, что там стоит, втянув под ребра свой тощий живот, та самая стриженная женщина, что ездила на раскаленной адской машине и когда-то давно за что-то ее не простила. Это было неправильно, потому что Наталья Федоровна за свою честную жизнь прощала столько людей, что набралось бы на целую тюрьму. А еще – потому, что мир когда-то говорил с Натальей Федоровной на хорошем, добром языке. Опускались,плыли большие зеркальные снежинки, легкой радужной слюдой одевались твердые сугробы, рьяно, как целый завод, дул в свои трубы медный оркестр на первомайской демонстрации, сухо звенели кузнечики в сонном мареве мелких сорных цветов, и маленький актовый зал раздражался, как лес под ливнем, влажными аплодисментами, когда принарядившейся Наталье Федоровне вручали почетную грамоту. Вся эта добрая, хорошая жизнь уходила, уплывала, погружалась, будто чистое яичко, в кипящую красную краску. Но жизнь была – и она оправдывала Наталью Федоровну, что бы кто ни говорил, как бы ни прятался от нее – наверняка в обнимку с бутылкой – уклончивый муж, как бы сын Женюточка ни насмехался над ее коридорными страхами, обзывая родную мать «деменция прекокс» и «старой козой».

А все-таки Наталья Федоровна оказалась права. Однажды, в страшную жару (на самом деле стояла промозглая осень, а батареи раскалились до порохового запаха горелой пыли и до треска паутин) Наталья Федоровна собралась на кухню, поглотать из-под крана шипящей белой воды и найти в холодильнике, если повезет, давешнюю банку мутного супа, откуда пялилась, словно из загробного аквариума, вареная рыбья голова. Высунувшись в коридор, Наталья Федоровна сразу почувствовала за ближайшим загибом чье-то напряженное присутствие. Пить хотелось даже больше, чем есть, язык был сух, как шерстяной носок, – однако осторожная Наталья Федоровна попятилась по стеночке и ухватила покрепче за рукав своего висевшего на гвоздике рваного халата. Тут же гвоздик выпал, как зуб, и Наталья Федоровна, с креном вправо, с бушующей тяжестью в голове рухнула вперед. Стриженная стояла там, за углом: полупрозрачная, ростом под потолок, она шевелила ртом, похожим на серебряную рыбу с красными плавниками, и заносила для удара какой-то длинный, будто в слои тумана завернутый предмет. Удар обрушился, прошел сквозь распростертую Наталью Федоровну грозной, ужаснувшей душу электрической волной – и сразу не стало ни коридора, ни стриженной, осталась только ясная, как в лунную ночь, темнота и косой далекий свет, который через неопределенное время стал округляться.

Наталью Федоровну нашли на другое утро: Женечка Караваев мышью вернулся из гостей, где взрослые тетки за деньги танцевали без лифчиков, одновременно папаша Караваев материализовался из неизвестности, имея при себе упаковку пива и сосиски. Наталья Федоровна, тепловатая на ощупь, подогретая снаружи металлическим жаром центрального отопления, лежала на боку, запутавшись в своем полосатом халате; рядом стоял, как куст, старый мужской зонт, пересохший в домоседе, с переломанными, в разные стороны торчащими спицами. Далее

произошло все то, чему надлежит происходить после ненасильственной и не особо значительной смерти. Состоялось вскрытие – и выявило, как и ожидалось, обширный инсульт; затем останкам Натальи Федоровны принесли останки ее выходного бежевого платья, в котором мошь проела белесые дырки. Угрюмый, в хлопьях седины и перхоти гример, мечтавший работать в театре, но служивший в морге, придал ее осевшему лицу нечто шекспировско-трагическое и не пожалел жирных багровых румян для ее замороженных щек.

Хоронили Наталью Федоровну из морга. Маленький горбатый катафалк (старый автобус с черной, исцарапанной невзгодами полосой по бортам) доставил скромный гроб и его содержимое к подъезду, где предполагались желавшие попрощаться. Наверх заносить не стали, открыли валковую домовину прямо под мокрым снегом, убелявшим рябой газон и питавшим асфальт нефтяной чернотой. Большое лицо покойной алело на подушке, будто восковой пион, и у соседей, подходивших по двое, по трое, было странное чувство, будто мамаша Караваева умерла уже давно, а вот сейчас ее зачем-то достали и привезли предъявить. Папаша Караваев стоял, как арестованный, у гроба в головах, мямля в кулаке черную вязаную шапку, бессмысленно играл треугольными бровками, в то время как в недрах его покато, по-бабьи рыхлой одежды глухо звонил, прерывался и снова звонил простенький, судя по звуку, мобильный телефон.

Сын Женюточка тоже маялся здесь, с лица набрякший, будто зареванный (на самом деле виноват был едкий химический дым, поваливший из давленной смеси всех оставшихся от покойницы лекарств, когда юный экспериментатор их, ради опыта, поджег); сирота держался строго сам по себе и от всякой сердобольной попытки погладить и приобнять уклонялся приставными ловкими шажочками – и так почти уклонился от горбатой скорбной загрузки в катафалк, куда его впихнул, бормоча, смущенный отец. Ведерников и Лида наблюдали все эти явления, стоя поодаль под Лидиным зонтиком в мелкий цветочек, темным от снега и воды. На пригласительный жест папаши Караваева Ведерников поспешно помотал головой – и, как он думал тогда, в последний раз увидел этого человека, как бы вполне материального, плотного, с мясистым личиком, по которому ползли не разбавленные соленым и жарким снеговые капли.

* * *

Лида, впрочем, продолжала с ним сталкиваться. Ей пришлось теперь взять на себя уборку еще и квартиры Караваевых – разумеется, без дополнительной оплаты. После основательного запугивания непреклонными тетками из органов опеки и спецучреждениями для трудных подростков (на бедной Лидиной памяти произошло немало таких историй с участием подвыпивших ментов, зверовидной родни и ржавых автозаков), новоиспеченный сирота нехотя выдал ей мамашину связку ключей, на которой болтался брелок: резиновое грязно-розовое сердечко, при нажатии пищавшее. После долгого подбора выяснилось, что грубая железная дверь Караваевых открывается, с тюремным громом, только двумя ключами, наибольшими и наипростейшими; вся прочая резная мелочь, включая блескучую малютку размером с ноготок, болтается просто так.

Жилище Караваевых по площади было вдвое меньше квартиры Ведерникова, но первая уборка заняла у Лиды неделю. Грязь повсюду лежала матерая, жирная, страшная, ванна выглядела так, будто в ней варили мясо, серые окна почти не пропускали света – а за кривой и продавленной лежанкой покойницы, в куче прогорклого тряпья, Лида по хлебному запаху нашла горячее мышинное гнездо, где копошились слепые голые детеныши, похожие на сморщенные мизинчики. За неделю папаша Караваев являлся дважды: раз на мягких цыпочках пробежал по коридору и скрылся, тихо клацнув дверью, а во второй раз, застигнутый на кухне за поеданием из банки прыщущих маринованных томатов, сконфуженно улыбнулся и, по уверениям Лиды, ушел, спиной вперед, прямо сквозь стену, заколыхавшуюся, будто зыбучий песок, и уронившую с гвоздя позапрошлогодний календарь. Получалось, что папаша Караваев был не

столько хозяин квартиры, сколько домового. Лида хотела узнать у него, что делать с одеждой покойницы, которой оказалось удивительно много, и при этом ничего целого, годного хотя бы на тряпки. Не получив никакого ответа, кроме уклончивой, размазанной к уху улыбки, Лида затолкала все в огромный мешок для мусора и отволокла его, высотой в собственный рост, на помойку: мешок застревал и бил по ногам, будто это сама Наталья Федоровна упиралась, не хотела идти.

Самые большие неприятности ожидали Лиду в Женечкиной комнате. Здесь стоял странный приторный запах. На голом обеденном столе, на крышке, потресканной, как бере-ста, валялись останки каких-то крупных насекомых, похожие на гнилые яблочные огрызки. Повсюду – на мебели, на стенах – темнели химические ожоги и еще непонятные мелкие капли, содержавшие такое неистребимое количество пигментов, что тряпка размазывала их до бесконечности. Драгоценные Женечкины коллекции, по всей видимости, хранились в деревянных сундуках, старых, окованных полосами изъеденного временем черного железа, при этом хитро запертых на множество висячих замочков и замков, на каждом сундуке по целой грозди, ради вящей безопасности. В первый раз Лида не удержалась и испробовала на этих замках ключи и ключики из хозяйской связки: получилась только грубая железная грызня, слесарные тупики. А вечером Женечка, явившийся к положенному ужину, топал на Лиду кривыми ножищами в кривоносых ковбойских сапогах и кричал плаксивым голосом: «Не трогать моих вещей! Не смей! Никогда!» Лида, побагровев, успокоила его мягким, но веским подзатыльником. Вероятно, поганец прицепил к сундучным замкам волоски или какие-то другие коварные секретки, почему и обнаружил попытку проникновения. Больше Лида не касалась сундуков, разве только смахивала пыль, при этом изнутри иногда слышалось сухое шебуршание, пугавшее Лиду до полусмерти.

Теперь цивилизованно избавиться от сироты не осталось совсем никакой возможности. По счастью, не было и возможности официально оформить опеку. У паразита, как-никак, имелся отец, не дававший формального повода для иска о лишении родительских прав. По закону, он проживал вместе с несовершеннолетним сыном на одной жилплощади; возможно, он где-то работал или, во всяком случае, числился; скорее всего, у него не было приводов в милицию – и попробуй приведи такого, невинного, плюхающегося в стены, точно в ванны, и выныривающего не в соседской квартире, а неизвестно где.

Впрочем, после того как Лида выскоблила логово Караваевых (краше от этого не ставшее, но получившее вид совершенно нежилой, фанерный), у папы Караваева появились некоторые затруднения со стенами, а также с мебелью, похожей, без наваленных тряпок, грязной посуды и присохших газет, на скелеты каких-то вымерших животных. Папаша Караваев спотыкался о непривычно пустые, брыкливые стулья, пару раз выдернул на пол полежавший ящик комода, где свободно болтались и хлестались резинками несколько полосатых, помертвелой красоты, полиэстровых галстуков. Перед тем как утопиться в стене, он теперь пробовал вещество указательным пальцем, нередко застревавшим и тянувшим из обоев вислые нити, какие бывают от налипшей жвачки. Все чаще он скромно пользовался дверью и подъездом, а если ему все-таки удавался фирменный фокус, то не все выходило гладко: стены, лишенные пауков и паутинок, предательски загустевали, папаша Караваев погружался трудно, комковатый нос его, торчавший до последнего, делался лиловым и свистел, а когда и нос исчезал, тело его еще какое-то время ворочалось в стене, будто в мешке.

Лида, наблюдавшая все это, только моргала и спрашивала себя, рассказать Ведерникову или все-таки не стоит. Сам папаша Караваев смущался чрезвычайно. «Милая, вы случайно не Марина, Катина дочка?» – однажды обратился он к Лиде с робостью и светившейся в блеклых глазках наивной надеждой. Опешившая Лида, не ожидавшая от полупризрака человеческого голоса, пробормотала, что, к сожалению, не знает ни Кати, ни Марины, просто помогает по дому. На это полупризрак сокрушенно вздохнул и попытался раствориться прямо в воздухе,

но только слегка побледнел, немножко заструился и выронил из кармана штанов похожий на котлету коричневый бумажник, который исчез на полу отдельно. Больше папаша Караваяв с Лидой не заговаривал, только суетливо кланялся и старался держаться подальше от щеток и ведра. Иногда он оставлял немного денег – вполне материальных, мятых – на эмалированной хлебнице, тщательно отмытой после сухих зеленых кусков, но все равно испускавшей слабый запах пенициллина; эти деньги Лида тратила на полезные продукты и заполняла Женечкин холодильник, чтобы ребенок мог поесть в любое время суток.

Все-таки имелся вопрос о сироткиных карманных расходах. Ведерников чуял угрозу запасу, это вызывало у него жестокую душевную горечь. «Рассчитай и скажи, сколько тебе нужно на месяц», – буркнул он однажды за ужином в сторону сиротки, совершенно уже освоившегося, ворочавшего кашу ложкой и хватавшего руками нежные дольки парниковых огурцов. В ответ на слова Ведерникова Женечка расплылся в ухмылке. «Вы насчет того, чтобы деньги мне давать? Не парьтесь, у меня свои имеются». Аккуратно отложив облизанную ложку, Женечка поерзал и, весь изогнувшись, вытащил из кармана джинсов целый денежный ком, который торжественно выложил на середину стола. Тут были и простые серые десятки, и радужные, розовые с карим пятитысячные, и доллары с несвежими президентами, и все это, как цветок росой, было сбрызнуто обильной сверкающей мелочью. «О боже, где ты это взял?! – Лида, разливавшая чай из толстенького чайника, едва не уронила в переполненную чашку Ведерникова фарфоровую крышку. – С кем ты связался? Ты воруешь? Это краденое?!» «Дураки воруют, – солидно ответил Женечка, переждав, пока Лида прокричится. – У меня все честно, на договорной основе». «Что именно? – вмешался Ведерников, стараясь говорить строго и спокойно. – На чем школьник может сделать такие деньги?» «Бизнес, – таинственно ответил Женечка и весь надулся, двигая указательным мелочь по скатерти, будто играя сам с собой в шашки. – Мужчина должен уметь зарабатывать. Немного того, немного сего...» Лида, расстроенная, тяжело присела к столу и подперла пылающую щеку кулаком. «Смотри, если из детской комнаты милиции придут...» – беспомощно пригрозила она и заблестевшими глазами покосилась на Ведерникова. «Не придут, – басом отвечивал Женечка, сгребая в горсть монетно-шашечную партию, несомненно, выигранную. – Лучше колбаски мне нарежь, чем панику наводить».

Ведерников чувствовал себя уязвленным. Он, получается, не мужчина. Бессмысленный обрубок, маменькин сынок. Плывет сырой корягой по мелким житейским волнам. Не имеет представления, по какому пути двинуться, какой сделать первый шаг, чтобы найти заработок, достойный так называться. А пацанчик – вот он: глумливая мордочка и полные штаны денег, знает ходы и выходы, знает каких-то людей, с которыми варит дела. Говорят, на материнских похоронах он, держась поодаль, оперся на чей-то полусгнивший деревянный крест и, поскольку крест шатнулся, принялся из интереса шатать дальше – и выворотил-таки, вместе с черным трухлявым комлем и какими-то земляными сопревшими волосами, и прибежал похмельный кладбищенский служитель, и вышел безобразный скандал.

Но с Женечки – как с гуся вода. Вдруг он принялся на свободе покупать себе обновки. Твердое, будто сколоченное из крашеных досок кожаное пальто, царапавшее полами асфальт; кожаная же куртка, вся бряцающая металлическими клепками, тяжелая, словно мешок с галькой; майки с черепами и полуголыми красотками, в которых Женечка преспокойно заявлялся на уроки; еще нечто странное и ужасное, вроде жилетки, стачанное из кривых крокодиловых полос, покрытых темными костяными мозолями, – настоящих, хвастался Женечка, закрепляя на себе это безобразие при помощи замызганных замшевых завязок. У пацанчика открылась просто-таки страсть до экзотических кож: его завораживали психоделическая змеиная чешуя, страусовые морщины и пупыри, бисерные узоры ящерицы, и он так хотел плащ из крокодила, что его опасно было пускать в зоопарк. Должно быть, он чувствовал нечто сродное себе во всех

этих древних бронированных тварях, в их медлительности, отвечающей току густой холодной крови, в равнодушном, полированном, каменном взгляде, в черной игле вертикального зрачка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.